

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ
ВАЙНЕРЫ

ГОНКИ
ПО
ВЕРТИКАЛИ



PREMIUM

Следователь Тихонов

Георгий Вайнер

Гонки по вертикали

«Азбука-Аттикус»

1974

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Вайнер Г. А.

Гонки по вертикали / Г. А. Вайнер — «Азбука-Аттикус»,
1974 — (Следователь Тихонов)

ISBN 978-5-389-20529-1

«Гонки по вертикали» (1974) – одно из самых известных произведений классиков российской литературы братьев Вайнеров. И в то же время – почти неизвестное: будучи экранизирован, роман оказался отчасти заслонен одноименным фильмом (1982), в котором сыграли такие звезды нашего кинематографа, как Андрей Мягков и Валентин Гафт. В картине сохранилась главным образом сюжетная канва: история противостояния следователя Стаса Тихонова и вора Лехи Дедушкина по кличке Батон. Борьба справедливости с беззаконием, трудолюбия с тунеядством, добра со злом... За этой прямолинейной формулой в книге живут два далеко не схематичных героя-антагониста со своими сомнениями, отчаянием, одиночеством. Их жизнь, как гонки по вертикальной стене, полна столкновений и опасностей. Благодаря диалогическому построению повествования авторы дают слово в равной мере обеим сторонам. Особенно интересен образ Батона – умного, обаятельного, терзающегося «паразита и отщепенца». Встретятся читатели и со знаменитым героем из романа «Место встречи изменить нельзя» – Шараповым, ставшим теперь подполковником МУРа. В издание также вошло произведение «Ощупью в полдень» (1968). В этой ранней повести братья Вайнеры уже уверенно заявили о себе как талантливые писатели, умеющие выстроить интригу и выпукло прописать характеры героев. Именно после ее публикации к ним пришло широкое признание. Ю. Нагибин назвал повесть «свежим словом в развитии детективного жанра».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-20529-1

© Вайнер Г. А., 1974
© Азбука-Аттикус, 1974

Содержание

Гонки по вертикали	7
Книга первая	7
Глава 1	7
Глава 2	10
Глава 3	12
Глава 4	19
Глава 5	23
Глава 6	31
Глава 7	34
Глава 8	41
Глава 9	47
Глава 10	52
Глава 11	56
Глава 12	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Аркадий и Георгий Вайнеры Гонки по вертикали

Азбука
PREMIUM
РУССКАЯ ПРОЗА

Серия «Азбука Premium. Русская проза»
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Егора Саламашенко

© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер (наследники), 1968, 1974
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®

* * *

Гонки по вертикали

Книга первая

Глава 1

Инспектор Станислав Тихонов

...Алексей Дедушкин грустно смотрел на меня бархатными черными глазами, и я видел, как под тонкими перепонками век у него накапливают слезы.

– Мне стыдно за вас... – сказал он своим глубоким мягким баритоном.

Вот так. Ему было стыдно за нас. Или, может быть, только за меня, а за Сашку Савельева не очень? Нет, скорее всего – за нас обоих, потому что беседовали мы втроем, и Сашке он был обязан нашей встречей даже больше, чем мне. И хотя мне тоже было стыдно за свое поведение, а уж про Сашку-то и говорить нечего, я спросил Дедушкина:

– Все-таки расскажи мне, Дедушкин, за что же тебя наградили этим орденом.

Дедушкин достал из кармана белый платок, промокнул быстрым движением глаза и негромко, интеллигентно высморкался. Платок отвел от лица, развернул за уголки и внимательно посмотрел в него, как фокусник во время представления. Но, к моему удивлению, из платка не вылетел голубь и не полезли бумажные цветы. Он просто снова сложил платок и спрятал его в карман:

– Извините меня, но предмет разговора мне пока неясен. Впрочем, я попытаюсь удовлетворить ваше любопытство и...

И начал в пятый раз излагать какую-то фантастическую историю о болгарском друге, с которым он познакомился несколько лет назад в Крыму. Однажды купались в штормовую погоду, и болгарин стал тонуть. И вот тогда, мол, Дедушкин, рискуя жизнью, вынес его из пенных волн. Немного очухавшись, спасенный снял с пиджака орден, которым его наградили во время войны за героизм, и подарил его своему спасителю.

– ...И уж, простите меня, храню его как память, – закончил он свое прочувствованное выступление.

Почти в каждое предложение Дедушкин вставлял «прошу прощения», «уж извините», но его полный сдержанных модуляций голос дрожал от обиды, и если ты еще не совсем скотина, то должен был бы понять, что извиняться, конечно, надо тебе самому. И у Сашки Савельева был вид человека, уже осознавшего себя прохвостом и примирившегося с этим навек. Поэтому он робко спросил Дедушкина:

– А что, старый был болгарин?

Дедушкин высокомерно усмехнулся:

– Почему же это «был»? Он еще довольно молодой человек...

Изобличенный в невежестве, Сашка совсем сник и горестно закачал головой:

– Ай-яй-яй! Вот ведь беда какая! Теперь все совсем запуталось...

– Простите, я не пойму – почему? – с достоинством спросил Дедушкин.

Сашка быстро взглянул на меня, усмехнулся:

– Да по нашим расчетам получается, что вашему болгарскому другу, гражданин Дедушкин, должно быть сейчас лет эдак сто...

– Простите меня, но я не совсем...

Я взял со стола золотой крест с бриллиантами на муаровой ленточке и показал Дедушкину:

– Это очень старый орден. Вот здесь, на обратной стороне, написано...

Дедушкин взглянул мне в глаза, и океан скорби и стыда за все человечество затопил меня. Теперь Дедушкин стыдился не только за нас с Сашкой, но и за своего неведомого нам болгарского друга:

– Значит, он обманул меня...

– Ага, – сказал радостно Сашка. – Я-то все волновался, что вы нам не говорите правды, а оказалось, что наврал этот прохвост. Слава богу! Теперь надо узнать, как к вам попал этот импортный чемодан, набитый заграничными вещами, и маленькое недоразумение между нами будет улажено.

– А он, наверное, спас иностранца во время авиационной катастрофы, – невинно предположил я и повернулся к Дедушкину. – И за это иностранец наградил тебя своим чемоданом. Нет?..

Дедушкин достал из кармана свой замечательный батистовый платок и проделал с ним полный цикл фокуснических манипуляций. Потом грустно сказал мне или нам обоим:

– Вы дурно воспитаны...

Леха Дедушкин по кличке Батон, опытный вор-«майданщик» – специалист по кражам на вокзалах и в поездах, был моим старым знакомым. И, услышав это скорбно-интеллигентное «вы дурно воспитаны», я просто захохотал, поскольку с этих слов началось наше с ним знакомство восемь лет назад. Тогда он совершил непростительную для профессионала ошибку – оставил у себя редкой красоты краденые часы. Он носил их в верхнем кармане пиджака на плоской платиновой цепочке, закрепленной какой-то изящной запонкой в петлице на лацкане. По этой-то цепочке я его и высмотрел, довольно бесцеремонно извлек ее вместе с часами из кармана, и часы повисли на лацкане, как военная медаль. Тогда-то он мне и сказал: «Вы дурно воспитаны». И весь он – седеющий, очень элегантный, с часами-медалью на груди – источал такую скорбь по поводу моей невоспитанности, что я растерялся и с развязностью пристыженного мальчишки сказал ему, чтобы он лучше о себе подумал, что воровать в его возрасте стыдно, и что... и что... В общем, доставляя Батона в дежурную часть, я поведал ему массу всяких пламенных глупостей, а он слушал меня не перебивая. Потом сказал с усмешкой:

– Да-а, пижонство вора погубило... – И с неожиданной злобой добавил: – Ненавижу я вас, сопляков из уголовки. Работать вы еще не умеете, но усердия и страсти на десятерых. Ты бы взглянул на себя, у тебя от возбуждения сейчас температура. Под сорок... Щенок.

Дело прошлое, но сейчас-то я могу честно сказать, что еще много лет не мог забыть и простить Батону «сопляка», которым он меня наградил при знакомстве. Я даже заранее придумал несколько остроумных и ехидных шуток, которые скажу ему, если доведется когда-нибудь его снова задержать. Но жизнь мало заботится об удовлетворении нашего копеечного тщеславия. Медленно, но неустанно трясет она нас в своем жестком сите, и постепенно опадает всякая труха, забываются глупости и мелочи, исчезают вздорные иллюзии, пока не остается одно лишь человеческое ядро. Правда, мне доводилось видеть, как человек целиком превращается в шелуху, или, может быть, и не было у него своего ядра, только посмотришь на такого – и с ужасом обнаруживаешь, что рядом с тобой человек целиком ушел в отходы. Да, но я не об этом. Я к тому, что много лет мне понадобилось, чтобы понять: ничего, во-первых, нет радостного в том, что я снова поймал Батона. Во-вторых, никаких слов мне не надо, чтобы доказывать ему свое нравственное и физическое превосходство, поскольку он проиграл свою партию еще до свистка. Ведь дело не в том даже, кто из нас умнее, наблюдательнее или кто быстрее бежит, а в самом характере наших взаимоотношений: я всегда преследую его, я всегда в атаке. Батон всегда должен скрываться, всегда бежать. Ну и, в-третьих, я только сейчас сообразил, что Батон был прав, назвав меня тогда щенком.

И неожиданно мне стало жаль этих своих безвозвратно ушедших лет, того душевного вечера на товарном дворе Киевского вокзала, где остро пахло свежими сосновыми досками, угольной гарью, вишнями, и все всплыло в моей памяти, будто я просматривал ролик цветной киноленты, на которой было не только изображение, но и звуки, и запахи, и все мои волнения. Я видел нас обоих, будто не было восьми лет и мы все еще стоим во дворе Киевского вокзала: спокойный, прекрасно одетый Батон с часами-медалью на груди и я – злой, тощий, с модненькой в то время прической ежиком и торчащими рубиновыми ушами, в скверном, все время мнущемся, несмотря на мои ухищрения, польском костюмчике, старающийся выглядеть уверенным и спокойным и от этого еще более взволнованный и неловкий. Я помню даже тополиные пушинки, которые Батон сбил с рукава точным и легким щелчком, и его злобно-презрительное «щенок». Но в тот момент я еще не мог вспомнить слов, что сразу всплыли в памяти сейчас, через восемь лет, и которые он произнес за несколько минут до «щенка». Он сказал тогда: «Вы дурно воспитаны». И, услышав сейчас эти слова, я почувствовал себя полностью отмщенным за того давнего «сопляка» и «щенка».

– Да, не сильно ты за это время вырос, Батон, – сказал я весело. – За восемь-то лет мог придумать что-нибудь поновее...

Батон, не глядя на меня, ответил с большим достоинством:

– Последние восемь лет я был занят обдумыванием своего тяжелого прошлого и пришел к твердому решению жить по закону. А ваши выходки, гражданин Тихонов, оскорбляют мое человеческое достоинство и, надеюсь, станут предметом принципиального разговора у руководства московской милиции.

Ага, даже по фамилии помнит. Я сказал:

– Что и говорить, Батон, ты типичный «человек с трудной судьбой». Но не обольщайся, полагая, что каждая кража чемодана становится предметом обсуждения у руководства.

– Я ваших порядков не знаю, но ни к какой краже отношения не имею.

– Это ясно, – кивнул я. – Правда, я не понимаю, зачем тебе эта комедия. Через час в сводку попадет заявление гражданина, у которого ты украл этот чемодан, и твоя очередная легенда получит естественное завершение.

Батон пожал плечами, показывая, что все мои домыслы не имеют к нему никакого отношения. Если бы это происходило не сейчас, а восемь лет назад, я бы, наверное, испытывал немалое злорадство, представляя, как с минуты на минуту явится потерпевший и расскажет, при каких обстоятельствах Батон увел у него чемодан. Но сейчас я не испытывал никакого злорадства, потому что прошло восемь лет и я уже не был «щенком», и хорошо знал, что Батон при опознании, и на следствии, и в суде будет выступать оскорбленным праведником, так и уйдет в тюрьму. И никакого удовольствия оттого, что Батон не считает меня больше «сопляком», я тоже не испытывал.

– Что еще есть в вашем чемодане? – спросил Савельев, и я от неожиданности вздрогнул, потому что он так долго сидел молча, а я так погрузился в свои воспоминания, что совсем забыл о нем. Сашка держал в руках дорогой японский фотоаппарат марки «Никон».

– Да всякая чепуха. – Батон посмотрел на Савельева, потом внимательный взгляд его ошупал роскошную камеру. Немного помолчав, он небрежно махнул рукой. – Фотоаппарат, например...

Я сказал Сашке назидательно:

– Учитесь, товарищ капитан. Вот прекрасный образец бессребреничества и душевной широты: гражданин Дедушкин считает чепухой аппарат, который стоит больше, чем он заработал за всю свою долгую трудовую жизнь.

Но Батона такими пустяками не выведешь из равновесия. Он четко гнул раз и навсегда выбранную линию. Он смотрел на меня своими грустными умными глазами, точно такими, как на старых иконах или у актера Михаила Козакова, и говорил снисходительно-вежливо:

– Ну зачем же вы со мной так, гражданин Тихонов? Помимо того что вы еще ничего не доказали насчет этого чемоданчика, вы хоть с возрастом моим считайтесь – я ведь почти вдвое вас старше...

Ах молодец, ах нахал! Ведь прекрасно знает, что я сам раскапывал его «биографию» и доказал тогда, что ему на пятнадцать лет меньше, чем он приписывает себе, и в этом году ему исполнится только сорок четыре года, но все равно прет как танк. Ладно, мы ведь не на товарном дворе Киевского вокзала, и я, к сожалению, уже не щенок.

– Вдвое, значит?

– Вдвое. Почти вдвое, – ласково кивнул Батон.

– А я, значит, дурно воспитан и поэтому неуважительно разговариваю с тобой?

– Точно, – подтвердил Батон. – А я разговариваю с вами уважительно. Между прочим, на «вы». Так что сначала насчет чемодана докажите.

– Докажем, Дедушкин, докажем. Ты об этом не беспокойся, – беспечно улыбнулся я.

Но было мне в этот момент не особенно весело, и в глубине души нарастало беспокойство, оттого что не поступает никаких сигналов от потерпевшего, а без хозяина чемодана мы ровным счетом ничего не сможем доказать. И тогда надо будет Батона отпустить, предварительно извинившись. И пока я вел все эти для меня изнурительные непринужденные разговоры с Батоном, не покидало меня предчувствие, что здесь не все ладно, и я с нетерпением ждал известий о хозяине чемодана. Мне еще было невдомек, что владелец чемодана заявить о пропаже не может...

Сонный милиционер сказал Батону:

– Ну, пошли, что ли?

Тот встал, чинно поклонился нам, плащ перекинул на руку и гордо понес к дверям красивую седеющую голову. Глядя на Батона, я думал, что все его коренастое, крепкое туловище – только приспособление для ношения головы, значительной, крупной, вознесенной вверх, как у деревянной статуи на носу парусного фрегата. Милиционер посторонился в дверях, пропуская его, и Батон снисходительно кивнул. Посторонний человек, наблюдая их, наверняка решил бы, что это ненароком заглянул сюда какой-то министр и сейчас в сопровождении милиционера обходит наши скромные апартаменты: «Рассказывайте, товарищи, какие у вас нужды?..»

Глава 2

Вор Леха Дедушкин по кличке Батон

Доброе начало полдела откачало. Это мой папаша так сказал бы. Или что-нибудь в этом роде. У него на каждый случай полно таких дурацких поговорочек. А начало получилось действительно знаменитое. Как он углядел меня, мент проклятый! Вот уж если не повезет, то никакой расчет против случая не тянет. Мне как-то на этапе Демка Фармазон рассказывал, что довелось ему удачно обобрать химчистку: сложил два здоровых тюка отборных вещичек и выкинул со второго этажа во двор. А там в затишке постовой милиционер обнимался с дворничихой – вот прямо на них тюки и упали. Спустился Демка, так они его не только повязали, еще и по шее как следует наkostenяли за порушенный уют.

Но, конечно, противнее всего, что подвязался к этой истории Тихонов. С ним я дерьма накушаюсь. Это как пить дать. Вредный он, зараза, и наверняка на зло память долгую держит. Окажись под рукой мой дед, он бы мне сказал: «С людьми надо уметь строить отношения». Н-да, хорошо ему было строить отношения, когда он в Коммерческом клубе по вечерам играл в карты с ростовским полицмейстером Свенцицким. И когда полковник Свенцицкий лез под стол за упавшим полтинником, мой дорогой дед светил ему зажженной сторублевкой

– «катенькой». Думаю, что Тихонов со мной не сядет играть в карты. Да и я нашел бы сторублевке лучшее применение.

Так что, попался? Неужели сгорел Леха Дедушкин? Эх, Тихонов, миляга мой расчудесный, если бы ты знал, как мне неохота лезть в кичу по-новому! Это ведь ты только думаешь, что мне сорок четыре годика. А на самом-то деле мне еле тридцать семь отстучало. Ты хоть и вострый паренек, но замотал я тебя в прошлый раз, да и масть моя седая сбила тебя с толку. Знаменитая у меня масть – седина бобровая, серебряный волос из меня со школьной поры прет. Мне бы с такой благородной окраской фармазонить – фраерам «куклы» продавать, а я вот по глупости в майданчики подался. Как говорила мадам Фройдиш, что держала хазу в Марьиной Роще, в Пятом проезде: «Если человек дурак, то это надолго».

Конечно, виноват во всем охламон, который придумал поговорочку «Ученье – свет, а неученье – тьма», потому что у меня как раз все неприятности от ученья. Вот те несчастные без малого десять лет, что я отсидел в школе, и определили тайный ход карт моей жизни. Я почувствовал огромный избыток образованности – она меня переполняла, она меня просто душила, полсвета я мог бы обучить из несметных своих знаний. И даже если бы меня не вышибли из школы за то, что я спер и продал на Тишинке пальто нашего химика, я бы все равно, наверное, уже не мог учиться – я и так все знал.

Почему-то я часто вспоминаю этого химика. Он уже умер наверняка, ему и тогда было за шестьдесят. Но его я вспоминаю чаще многих живых. Он странный человек был. Однажды, поспорив с Васькой Мухановым на два бутерброда, я встал на уроке и сказал: «Петр Иванович, извините, пожалуйста, но мне кажется, что вы дурак». Дело давнее – почитай, лет двадцать с гаком укатило, но я и сейчас помню ту ужасную тишину, просто немоту какую-то, залившую класс. Замерли все неподвижно, будто грянул гром и все окаменели. А Васька Муханов побелел так, словно я ткнул его рожей в гипс, он ведь до последнего момента не верил, что я скажу. Мне и самому не хотелось говорить, но мы уже поспорили, не отдавать же ему бутерброды. Я и сказал. Тихо было в классе, только с Цветного бульвара раздавался трамвайный звон и сипло дышали проржавевшие трубы отопления. Я поднял глаза на учителя – он тоже тихо стоял, длинный, очень худой, в синей гимнастерке, штопаной, старой, обсыпанной мелом и табачным пеплом. Стоял он, заложив руки за широкий сержантский пояс, и, прищурясь, смотрел на меня одним глазом – одним, потому что на втором было большое серое бельмо.

Он, наверное, долго молчал, мне-то уж, во всяком случае, показалось – целую вечность, а потом не спеша и негромко сказал:

– Может быть. Может быть, с твоей точки зрения, я и дурак, – помолчал и спросил, будто советовался со мной: – Только как же мне учить-то тебя дальше?

Не знаю, если бы он мне дал по рылу, или вышвырнул из класса, или послал бы к страшному директору школы Шкловскому – в общем, принял бы какую-то необходимую по их учительской науке меру, то, может быть, все в моей жизни пошло бы по-другому. Но он не принял мер. Или, может быть, это была неприменимая ко мне мера – он хотел подействовать на меня добром, а я этого смерть как не люблю, но, во всяком случае, он сказал только:

– Ты сядь, Алексей. Такие вещи не обязательно говорить стоя...

Вот ей-богу, я и сейчас не могу понять, почему я себя повел тогда таким макаром. Я просто озверел. Ну простил старик, садись, утри сопли и помалкивай в тряпочку. Побил он козырным тузом твою мусорную семерку – сиди и не рыпайся. Так нет же – битого вала из рукава потянул. Убежал со следующего урока, взял в раздевалке пальто химика и отнес на Тишинку. Черное пальто было, с истертым бархатным воротничком, из драпа с пылью пополам. Там меня и загребли. Доставили в пятое отделение, сидел я в «аквариуме» вместе с какими-то пьянчугами, бабами-мешочницами, одним карманником и бритым чучмекон поперек себя шире.

Потом я увидел через решетчатую дверь, как в дежурку в клубах пара с мороза ввалился химик Петр Иванович, замотанный шарфом, в женской кацавейке поверх синей гимнастерки. Я видел его бураковые, набрякшие уши и как он судорожно растирал занемевшие от холода руки, и все во мне переворачивалось от жалости к нему и ненависти на весь мир. И слушал его тихий, бубнящий голос, бившийся о деревянный барьер дежурки, как в стены бочки, и, наверное, именно тогда я в первый раз подумал, что все мы живем в бочке, громадной бочке, которая нам и земля, и небо, и весь наш размах и полет, и все наши удачи и унижения, все ограничено покатыми вонючими стенками невидимой глазом бочки, которая и сама-то не твердь, а так, кусок дерьма, мчащийся на волнах мироздания.

Химик бормотал: «Нервный мальчик... это эксцесс... педагоги должны в первую очередь отвечать...»

И тогда я с разбегу бросился на решетку двери, искровенив махом себе всю рожу, и заорал жутким, рвущимся из живота криком:

– Не верьте!.. А-а-а! Я сам за все отвечаю!.. Вы мне все надоели!.. Я украл! Украл! Украл!..

Глава 3

Досуг инспектора Станислава Тихонова

– Крупная сволочь этот твой старый друг Дедушкин, – задушевно сказал Сашка.

– Да-а? – удивился я. – Не совсем так. Это определение не для него.

– А какое же для него? – насмешливо глянул на меня Сашка.

– Враг. Стал бы я с ним четыре часа разводить тары-бары, если бы он был просто сволочь.

Но он нам враг и требует серьезного отношения.

– И что будем делать?

– Если Батон сообразит, что у нас нет потерпевшего, дело швах. Но я и сам не могу понять, почему до сих пор от него не поступило заявление.

Сашка уверенно сказал:

– Ничего страшного. Хозяин за эти четыре часа мог еще и не хватиться чемодана, а сейчас, пожалуй, уже спит. Утром обнаружит пропажу и заявит.

– Да-а? Ты так думаешь? – спросил я с надеждой. – Я тоже хочу так думать...

– И что?

Я лениво потянулся, подавил в скулах зевок, сказал:

– Пива хорошо бы попить. С воблой и соленым горохом. «Праздрой» любишь?

– Ничего. Со свежими раками лучше. Так что же с чемоданом?

– А я сам не знаю. Я ведь и не говорил, что у меня есть какие-то предположения. Просто я не верю в рассеянность этого потерпевшего.

Сашка сердито уставился на меня. Я встал, обнял его за плечи, засмеялся:

– Брось, старикан. Ничего мы сейчас с тобой не придумаем: это задачка по линии математического бреда. А трехмерные упражнения мы с тобой в уме делать не умеем. Так что все равно ничего не получится.

– Да перестань ты выкаблучиваться! – прорвало наконец Сашку. – Надо сесть и подумать, в каком направлении искать.

– Вот именно: в каком направлении искать, – обрадовался я. – Хорошо, что мы с тобой сидим сейчас на Киевском вокзале и точно знаем: поезда отсюда уходят только в юго-западном направлении СССР, где расположена четверть советских городов и населения. Поэтому остальные три четверти мы можем не проверять...

Сашка сделал протестующий жест, но я успел договорить:

– Это при условии, что ты прав и пассажир еще едет в поезде. А если он, наоборот, приехал в Москву?

– Тогда надо построить несколько рабочих версий и...

– Давай. Тем более что из всех известных мне видов строительства это самый дешевый и неумотительный.

Мне уже самому надоело балаганить, а Сашка не хотел заводиться, и игра потеряла интерес. Конечно, вся эта история не представлялась мне тогда ни сложной, ни интересной. Просто меня удивляло, что не появляется пассажир, у которого Батон украл чемодан. А может быть, меня это и не удивляло, и придумал я все это потом, тем более что сильно удивляться или волноваться не было оснований – ведь прошло всего несколько часов после кражи. Но, во всяком случае, тогда я отнесся ко всей этой истории довольно спокойно, иначе я бы не стал дожидаться утра. Правда, Сашка Савельев потом доказывал мне, что при всем желании мы бы не могли разыскать потерпевшего в эту ночь, и даже если бы мы его нашли, то только все испортили бы. Честно говоря, я до сих пор не верю, будто самый верный путь к истине обязательно идет через ошибки.

Я уже привык к мысли, что процесс нашего возмужания – это вроде вступления в какое-то труднодоступное общество и, чтобы вступить в этот «Клуб опытных людей», надо много и дорого платить – годами жизни, огромными разочарованиями, иногда болью и кровью. За это получаешь опыт, или, как говорили раньше, житейскую мудрость. Штука необходимая, избавляющая тебя, в частности, от унижительного сознания, что ты щенок. И как только избавился – тут тебе и крышка. Обязательно садишься в лужу, потому что в каких-то вещах мы до смерти остаемся щенками, и, когда уходит от тебя это понимание, ты теряешь готовность к встрече с неожиданностью, которая берет тебя за шиворот и начинает тыкать носом в твою замечательную житейскую мудрость: «Ты же ведь больше не щенок? Ты же член клуба взрослых, опытных людей? Давай, давай, реши-ка мои задачки!» Короче, я допустил ошибку. Или мы с Сашкой ее допустили. Но виноват в ней больше был я, потому что я был опытнее, потому что я был меньше щенок. И много, очень много дней и ночей я исправлял свою ошибку, чтобы, поняв и исправив ее, решить свою проблему в целом и этим заплатить за гордое сознание, что я уже не щенок.

Я сказал Сашке:

– Хорошо, давай подождем до завтра. Если пассажир завтра не объявится...

– Да куда он денется! – резонно возразил Сашка. – Кроме того, завтра можно будет связаться с линейными отделами милиции. Кого ты сейчас, вечером, да еще в субботу, найдешь там?

– Завтра, между прочим, тоже нерабочий день – воскресенье, – напомнил я.

– Но ведь это будет день. День, понимаешь? Дежурные там и в воскресенье есть наверняка! А сейчас ночь на дворе!

– Ладно, все равно мы с тобой за день сильно устали, ничего путного не придумаем. Оставь дежурному домашний телефон на случай, если новости будут, и поедем спать.

На том и порешили.

Мы вышли из метро на Комсомольской. Площадь была залита пронзительным дымным светом ртутных фонарей, который, перемешиваясь с нервным мерцанием неоновых реклам, вспышками автомобильных огней, поднимался над спящим городом как извержение. Моросил холодный апрельский дождь, и мостовые тускло отсвечивали нефтяным блеском, а из рта шел пар, который подолгу не хотел таять, и люди были похожи на рисунки в комиксах, когда разговор изображают такими исписанными клубочками пара, срывающимися с губ. И если бы мы с Сашкой написали слова на этих маленьких облачках, то все смогли бы прочитать, о чем мы с ним думаем. И хотя большинство людей в принципе не прочь узнать, о чем думают остальные, как раз на этой площади им меньше всего до этого дело. Эта площадь похожа на огромное сердце, которое мощно и ритмично выпускает и принимает через три вокзала бессчетное количество пассажиров, заполняющих ее до предела. Я иногда с испугом думаю о том,

как было бы страшно, если бы случилось что-то фантастическое, и все пассажиры уехали бы и больше поезда не пришли бы к платформам, и вся эта суэта утихла, исчезло веселое напряжение перед дорогой, опустели перроны, залы ожидания и переходы, и, хотя я понимаю, что это чушь, чепуха, остаток какого-то вздорного сна, я все равно пугаюсь, потому что пустой вокзал и заколоченный дом для меня всегда были символами смерти.

Из дверей метро слышался ровный утробный гул и толчками выходил теплый плотный воздух, пахнувший горячей резиной, и даже здесь был осязаемым запах весны, который преследовал меня сегодня с утра и совсем исчез в прокуренном помещении милиции. Пахло землей, прошлогодней травой, тающим снегом, хвоей...

– Пошли ко мне? – предложил Сашка. – Поужинаем вместе, потреплемся, а захочешь – останешься ночевать.

Я покачал головой:

– Спасибо, не могу. У меня еще сегодня свидание. Вернее, визит в гости.

– Куда ты в одиннадцать часов поедешь? Знаю я твои визиты, – засмеялся Сашка. – Плюнь, завтра поедешь.

– Не могу, – упирался я, – тем более что мне и не ехать, а идти. Тут рядом, пять минут. Я точно обещал.

Я смотрел Сашке вслед, на его прямую, твердую спину в узеньком коротком пальто – крепкий, спортивный мальчишка, – и испытывал чувство обиды и досады, как ребенок, дважды отказавшийся за столом от любимого блюда, а теперь блюдо уже унесли на кухню и нельзя сказать: «Я передумал, дайте мне тоже кусочек», потому что предлагали-то от всего сердца, и никому не объяснишь, из-за чего находит на тебя застенчивое упрямство, заставляющее говорить и делать глупости. Хотя в глубине души я и сам понимал, что от того блюда, которого мне сейчас больше всего хотелось, которое мне так было нужно, не отрежешь кусочка на долю гостя.

А хотелось мне немного, всего капельку обычного обывательского покоя. Того самого, которого принято стыдиться, который презрительно называют «мещанским уютом», которого благополучные люди никогда не прощают житейским нескладам. Того покоя, семейного счастья, что приходит вместе с жизненным становлением, незаметно сопутствует успехам, окружает удобной мебелью в своей квартире, предлагает вкусный ужин вместо докторской колбасы и еще позволяет иметь тапочки. Есть такие тапочки, мягкие, войлочные, цена четыре рубля, которые стоят под вешалкой и являются для меня символом жизненного спокойствия, благополучия и устроенности.

В общем, когда тебе тридцать лет и у тебя масса нерешенных жизненных и бытовых проблем, весна вызывает болезненно-острое чувство грусти и активное отвлечение к своей запущенной холостяцкой комнате в многолюдной коммунальной квартире.

Короче говоря, в этот весенний прохладный вечер или ночь, уж не знаю, как правильнее надо считать одиннадцать часов, охватило меня томительное чувство неприкаянности, пустоты и абсолютной ненужности никому на свете; и пока я шагал через площадь, раздумывая, где бы поужинать, мне становилось все досаднее, что я отказался от Сашкиного приглашения, и в душе росло какое-то несправедливое ожесточение против ничего не подозревающих людей, сумевших устроить свою жизнь бесхлопотно и красиво. Я понимал несправедливость своего гнева и вздорность своих глупых претензий и от этого злился больше всего на себя самого.

По путепроводу Окружной железной дороги, мягко погромыхая, катился поезд Ленинград – Сухуми. В окнах, освещенных абажурчиками настольных ламп, были видны пассажиры в пижамах, папилютках, и все эти желтые, розовые и голубые купе отсюда, с мокрого тротуара, виделись прекрасными микромирами уюта, благополучия и душевного спокойствия. Я поднял воротник плаща и пошел к подъезду гостиницы «Ленинградская».

Народу в ресторане было немного, и я уселся у окна, рядом с огромной, просто ужасающей своими размерами вазой, вознесенной на подоконник, по-видимому, подъемным краном. Официанта не было, и я пока занялся разглядыванием посетителей. Молодые люди ласково журчали с девушками о чем-то неповторимом, уныло разжевывали свои шницели командированные, веселилась на всю катушку компания иностранцев, судя по красным затылкам и огромному количеству пива – немцев. Они так дружно чокались и с таким аппетитом ели жареное мясо, что у меня начались голодные спазмы.

Пришел официант. Быстро записал заказ и спросил:

– Что пить будем?

В глазах у него была твердая решимость, как у опытных медсестер, которые уже привыкли к постоянным отказам больных пить совершенно необходимый для них рыбий жир, и сколько бы они сейчас ни откручивались, на этот раз номер не пройдет – выпьют как миленькие! Я понял, что и мне не миновать сегодня этой чаши в прямом смысле, и сказал трусливо: «Да коньячка граммчиков сто пятьдесят, пожалуй», хотя пить совсем не хотелось.

Я смотрел на иностранцев и раздумывал, почему же не появился с заявлением о пропаже владелец чемодана. Интересно было бы знать, что он делает сейчас. Едет куда-то из Москвы в поезде. Или, наоборот, приехал и, может быть, даже живет в этой гостинице и сидит пьет себе пиво вместе с этой компанией. Только вряд ли. Если бы он приехал, то уже обязательно хватился чемодана. Жалко, что Сашка задержал Батона перед вечером – даже позвонить было некуда... Очень есть хочется. Я неожиданно подумал, что Батон тоже голодный – его доставили в камеру предварительного заключения уже после раздачи ужина, – и почувствовал от этого какое-то дурацкое злорадство. Нечего было воровать, а надо было заниматься каким-нибудь тихим почтенным трудом, иметь семью и диетическое питание – у него от бурно прожитой жизни наверняка больные печень и желудок. Вот если бы Батон был не вором, а приличным человеком, то у него – я это точно знаю – под вешалкой обязательно стояли бы войлочные тапки за четыре рубля. Но у Батона нет тапок, потому что он вор и ему надо все время ездить, бегать, скрываться, и тапки для такого дела совсем неподходящая обувь. А вот почему, интересно знать, у меня нет войлочных тапок?.. Я, наверное, еще долго размышлял бы над всей этой ерундой, но официант принес еду. Он меня явно не уважал и не старался скрыть это – воспитанный человек не станет в двенадцатом часу есть борщ. Но, во-первых, я вообще люблю борщ, а во-вторых, я точно знаю, что человек за обедом должен есть одно горячее жидкое блюдо. Это я прочитал в замечательном журнале «Здоровье», где в разделе «Полезные советы» есть масса подобных откровений. Поэтому я решил съесть свой борщ во что бы то ни стало. И, кроме того, я не виноват, что мой обед так запоздал. Но поскольку я верю в судьбу, то считаю, что не только у людей – у вещей тоже есть своя судьба. Так вот, если можно борщ считать вещью, то у него была судьба остаться несъеденным. Кто-то негромко сказал:

– Стас... А, Стас?..

Не оборачиваясь, я уже знал, кто это стоит у меня за спиной и ласково смотрит мне в затылок, и борщ стал горьким, а может, кислым или сладким, не знаю, не помню, просто он исчез, я забыл о нем вместе со всеми прекрасными советами из журнала «Здоровье», как забыл про некормленного Батона, и неведомого мне владельца чемодана, и о том, что мне сильно не хватает в жизни войлочных тапок за четыре рубля, потому что этот хриловатый низкий голос и ласково-неуверенное «а, Стас?» могли принадлежать только одному человеку на свете. Человеку, с которым мне совсем и никогда не нужен уют и обывательское спокойствие и не нужна квартира с мягким диваном, под которым стояли бы войлочные тапки, потому что, когда мы вместе, мне просто некогда думать обо всех этих глупостях, потому что до сих пор это единственный человек на всей земле, с которым я бы хотел быть всегда вместе, и ни годы, ни боль, ни множество других встреченных мной людей ничего не могут изменить и исправить. Так уж получилось, и, видно, ничего и никогда тут не изменить.

Не оборачиваясь, я кивнул, проглотил ложку безвкусного, как горячая дистиллированная вода, борща и сказал негромко и бесцветно:

– Конечно я. Кто же еще. Садись...

И даже не удивился исключительной глупости своего ответа – будто мы каждую ночь обязательно встречаемся в ресторане гостиницы «Ленинградская» и последний раз виделись как раз вчера. Нет, не удивился – эта женщина обладала редкой способностью заставлять меня вести себя так, как я никогда и ни с кем себя не веду. Она села на стул боком, положив удобно ногу на ногу, и со своим обычным ласковым и чуть плутоватым выражением заглянула мне в лицо:

– Ты устал? Или расстроен? А, Стас?

Я отодвинул тарелку с опостылевшим мне борщом и, не глядя на нее, сказал:

– Нет. Я очень люблю по ночам есть борщ. Обычно это занятие поглощает меня полностью.

Она положила мне на руку свою ладонь, и я подумал, что в жизни я могу подготовиться к встрече с тысячью Батонов, но вот есть же человек, живущий от меня в двадцати минутах езды, с ним в любой момент можно созвониться, и раза два в год мы видимся, и перед которым я всегда щенок, никогда не готовый к встрече. Потому что, когда она кладет свою ладонь мне на руку, меня охватывает какое-то сладкое сумасшествие, и я забываю, что сто раз давал себе клятву презирать ее, ненавидеть, не уважать, не любить, не помнить, и мне хочется бесконечно продлить это мгновение, когда она сидит рядом со мной, ласково улыбается и держит меня за руку.

Я осторожно высвободил руку из-под ее ладони и понял, что получилось это смешно и некрасиво, и, чтобы как-то скрыть смущение, взял со стола графинчик:

– Тебе коньяку налить?

Она молча кивнула, и, хотя я по-прежнему не смотрел на нее, я понял это, угадав, как я всегда угадывал смысл ее молчаливых жестов, точно узнавал ее присутствие у себя за спиной.

– Ты с работы? – спросила она.

– Ну что ты! Сегодня же суббота, я не работаю, – неуклюже соврал я, лихорадочно придумывая, где бы это я мог быть вечером в субботу, откуда ушел в ресторан есть борщ. Дело в том, что мне ужасно не хотелось выглядеть в ее глазах каким-то зачуханным и голодным, ведь каждый голодный человек выглядит немного несчастным. Но придумывать ничего не пришлось, потому что она наклонилась ко мне и быстро провела рукой по боку пиджака, нащупала пистолет в полукобуре на поясе и засмеялась:

– Эх ты, врунишка! Я тебе тысячу раз говорила, что ты не умеешь врать, лучше уж и не учись. А кстати, как же ты на работе-то? Ведь тебе, наверное, надо уметь ловко обманывать своих жуликов?

– Нет, они мне и так верят, – усмехнулся я.

– Но если им говорить всю правду, то ты ведь и не докажешь, что они жулики, – удивилась она.

– Я могу просто не говорить им всю правду, – пожал я плечами, – я ведь могу о чем-то просто не говорить.

Мы чокнулись, и я в первый раз взглянул ей в лицо, и, как всегда во все эти долгие годы, екнуло сердце, потому что если бы я верил в Бога, то подумал бы, что это лицо – крест моих человеческих исканий, вечной неутоленности, приговор пожизненного подчинения человеку, которому все это совсем не нужно. Не виделись мы больше полугода, но она совсем не изменилась, как, в общем-то, не изменялась за те десять лет, что я знал ее. Может быть, я совсем не способен оценивать ее объективно, но мне кажется, будто и сейчас ей нельзя дать больше двадцати – двадцати двух лет, хотя ей столько же, сколько мне.

– А за что мы будем пить? – спросила она.

– За что хочешь. Это не имеет значения. Вообще все это не имеет значения.

– Нет, имеет. Это вроде знака уважения или ритуала воздаяния небольших почестей. Давай выпьем за тебя...

– Ты же знаешь, я не люблю всякие знаки. Но если тебе нравится, давай выпьем за меня.

– Я тебе желаю счастья.

– Спасибо. Но это не важно.

Конечно, мне бы хотелось в этот момент выглядеть поуверенней и «поблагополучнее», но даже под ее гипнозом я понимал, что все удобства и блага мира, даже войлочные тапки, без нее не существуют и прикидываться, изображая самодовольного жуира и баловня судьбы, просто глупо. Потому что, если честно говорить, для счастья мне в жизни не хватало только ее, и было бессмысленно пытаться обманывать ее в этом, хотя бы из-за того, что мы все равно никогда не будем вместе. Ведь если хоть один человек на всем свете знает тайну другого и пускай никогда и никому не говорит о ней, то это уже все равно не тайна, поскольку они оба знают о ней, и она или соединяет их, или разделяет навсегда. А она знала мою тайну, мою любовь, муку, мое счастливое страдание. И еще она умела читать мои мысли. Она сказала:

– Мы ведь все забыли?

Я повернулся к ней всем корпусом:

– Нет! Даже ты не забыла. А я забывать не хочу и ничего не забуду. Когда я был моложе и глупее, я старался позабыть. Ты ведь не предложишь мне сейчас «остаться друзьями»?

– Стас, дорогой мой, но ведь это не может быть вечно! Тебе надо устроить как-то свою жизнь. Нельзя же до старости жить вот так и ходить ночью в ресторан есть борщ. А нам, кстати говоря, ничего не мешает быть друзьями.

– Мешает. Если между любовью и дружбой лежит расставанье, значит и не было никакой любви или разлюбили совсем и все позабыли. А я ничего не забыл и забывать не хочу. Это раз. А что касается необходимости устраивать свою жизнь, то она и так прекрасно устроена. Вот только куплю тапки, и все в порядке...

– Какие тапки? – удивилась она.

Я засмеялся:

– Есть такие замечательные тапки. Да это не важно. И давай не говорить обо всем этом. Лучше выпьем за тебя, ты расскажешь, как живешь, и все будет отлично.

Я почувствовал, что от голода, волнения и усталости начал пьянеть: это от двух-то рюмок коньяка! В зале пригасили часть огней, и ее лицо расплывалось в полумраке, текло, струилось, как на врубелевских картинах, и на мгновение мне даже показалось, что я просто задремал, дожидаясь официанта, и все приснилось: она не приходила и весь наш разговор – это продолжение сегодняшних воспоминаний, которые вызвал Батон. Но она сидела совсем рядом, бесконечно далекая, и я не мог преодолеть это расстояние, как нельзя перепрыгнуть через пропасть в два приема.

– Тебя, наверное, очень боится жулье, – сказала она. – В тебе есть какое-то ужасающее неистовство. Ты никогда не сможешь быть счастлив, потому что ты не воспринимаешь жизнь такой, какая она есть, и если тебе что-то надо, то ты вцепляешься мертвой хваткой, как волкодав, пока не докажешь свое.

Я понял, что отвечать не надо: она не разговаривала со мной, а просто думала вслух.

– И мера затрат тебя тоже не интересует. Тебе важно только выиграть, а какой ценой это достанется, тебе безразлично.

Я усмехнулся:

– Не надо делать из меня человека, горящего на работе.

Она строго сказала:

– Не дурачься. Ты отлично понимаешь, о чем я говорю: ты был таким же, еще когда учился, и я тебя – безусого еще – просто побаивалась. Тебе, пожалуй, надо было стать спортсменом – из тебя вышел бы пожизненный чемпион по боксу.

– Так не бывает. Пожизненных чемпионов не бывает – человек обязательно когда-нибудь проигрывает.

– Вот я об этом и говорю. Такие альтруисты, как ты, – тираны. Они верят в свою правоту и стремятся подчинить всех окружающих своей идее, своим страстям, своей правде.

– А если окружающие не согласны?

– Тогда ты с ними воюешь, даже если для этого приходится мучиться и любить. Но людей вокруг много, Стас, и страстей твоих много, а тебя самого мало. Поэтому ты проиграешь. Жизнь коротка.

– Может быть, – пожал я плечами. – Раз жизнь коротка, то скоро она все покажет.

Как хорошо было бы, если бы она вышла замуж за какого-нибудь дипломата и уехала с ним в Нью-Йорк или Рио-де-Жанейро, и я бы точно знал, что между нами полмира, и нельзя позвонить, и невозможно приехать на троллейбусе, и нигде меня не подстерегают эти случайные встречи, от которых остается чувство горечи и тоски! Может быть, тогда я бы примирился с мыслью, что ее больше нет, нет, почти физически нет, раз между нами есть муж, пухлые дети, таможни, восемь границ, тысячи километров, необходимость устроить свою личную жизнь и купить войлочные тапки, и, наконец, есть миллион девушек, согласных делить со мной время моих страстей, нести тяготы «альтруистической тирании». Но пока она рядом и пока существуют рестораны, куда в двенадцатом часу я хожу есть борщ и где случайно встречаю ее, все это становится нереальным.

– Лена, мне тридцать лет, я нормальный мужчина с минимальными достоинствами и бесчисленными недостатками, самый обычный человек, в общем. Когда-нибудь я встречу женщину, которую ищу, которая мне нужна, и все проблемы решатся сами по себе...

– Но скорее всего, она окажется похожей на меня. Тогда что?

– Не знаю, но думаю, что все будет нормально. Если бы мы встретились с тобой сейчас, а не десять лет назад, все было бы по-другому...

– Да, наверное.

Мы посидели молча, потом я спросил, как она попала сюда.

– Иностранную делегацию принимаем. Это издатели и переводчики из Финляндии, – сказала она. – Наше издательство заключило с ними договор.

– А что ты сейчас делаешь? – спросил я.

– Редактирую прелестную книгу про средневековых пиратов.

– Это, наверное, действительно интересно. – Я подумал, как великолепно было бы ступить сейчас на палубу пиратского галиона, и грохнул бы залп из медных жерл, взвились вымпелы на реях, не было бы горестей, тревог и забот, а только удадь и красота боя. – Слушай, а почему про нас, сыщиков, следователей, не пишут хороших книг?

– Трудно. Чтобы книга была про сыщика, а не про фельдшера, надо написать сыщика в работе. А масштаб интереса к его работе обычно поглощает интерес к его личности. Так и появляются книжки про всякие уголовные чудеса, которые раскрывают совершенно одинаковые герои в синих шинелях.

– В серых. Теперь форма новая.

– Герои-то от этого не изменятся...

– Ну что ж, до встречи?

Пройдет несколько месяцев, и я снова – в метро, или на улице, или, как было однажды, на пляже в Адлере, – снова увижу ее, услышу вопросительно-ласковое «а, Стас?», и снова ударится, срываясь с ритма, застучит, забарабанит сердце, и она вновь положит мне ладонь на руку, и я буду тонуть в радостной муке и смешном неуважении ко всем устроенным, благопо-

лучным людям, потому что она здесь, рядом, на другом краю пропасти, которую не перепрыгнуть в два приема...

Глава 4

Тишина вора Лехи Дедушкина

В «предбаннике» – дежурной комнате камеры предварительного заключения – у меня отобрали брючный ремень, галстук и попросили вытащить из ботинок шнурки, короче говоря, освободили меня от всего, что может жать, стягивать, мешать во сне и на чем бы я мог сдуру удавиться, коли страх перед грядущим возмездием станет невыносимым. Конечно, изъятие всех этих тряпок – приспособлений висельника – совершенная чепуха, потому что, приди мне блажь удавиться, я бы скрутил из подкладки пиджака такую петлю – хоть на Геринга.

Дежурный, пожилой старший лейтенант, еще раз просмотрел список изъятых у меня имущества, при этом протокол он водил перед самыми глазами, отчего казалось, будто он тщательно принохивается к написанным им самим строчкам и ту, что понравится больше всех, наверное, слизнет со страницы, но, видать, ни одна настолько ему не понравилась – не стал он слизывать строчек протокола, а бросил листок на стол и, покачив седой круглой головой – волосы его были похожи на аккуратно приклеенные к костяному шарикку лоскуты серого бобрика, – сказал сипло:

– Такой человек приличный с виду... – И снова покачал своей бобриковой башкой.

– А я не только с виду. Я и внутри тоже ужасно приличный.

Дежурный на меня внимательно посмотрел, для этого случая он даже вытащил из ящика стола очки – жутко старые очки, с отломанной оглоблей, перевязанной нитками мулине, и смотрел он через них, как в лорнет, – держа в руке. И со своими очками, обвязанными салатовыми нитками, он был так не похож на тюремного смотрителя, что я перегнулся через стол и заглянул в открытый ящик.

– Вам чего там надо? – сердито спросил дежурный, желтая мятая кожа на костяной голове под пыльным бобриком тускло забагровела, и он быстро задвинул ящик в стол. Лежал там старый журнал «Огонек» с наполовину разгаданным кроссвордом и промасленный бумажный сверточек с бутербродами.

– Я подумал, что у вас там должно быть вязание и спицы, – сказал я ему душевно.

– Это почему еще?

– Да так показалось. Вы мне лучше скажите, как с моей жратвой будет?

Судя по лицу дежурного, я ему совсем мало нравился. Да уж ничего не попишешь, раз ты на службе, терпи. Терпи, терпи, может, капитаном станешь. Он все так же сердито сказал:

– Кормление задержанных производится в восемь, тринадцать и девятнадцать часов. А сейчас сколько? Какая же может быть еда среди ночи? Терпите до утра.

– А какое мне дело, сколько сейчас времени? Я ведь не то чтобы гулял по столице, дышал свежим воздухом и забрел к вам переночевать. Меня задержали около пяти часов вечера – заметьте, незаконно задержали и за это еще ответят где следует...

– Я за это не отвечаю, – сказал дежурный. – Кто задержал, тот и будет разбираться. Просто так людей не хватают.

– За арест не отвечаете. Но завтра я напишу прокурору, что и вы применяли ко мне пытку голодом.

– Какую пытку? – удивился дежурный. – Мне иной раз случается по суткам ничего не есть.

– Хоть по неделе. Меня это не касается.

И еще долго я балаганил, пускал слезу, нажимал на басы, грозился, и все для того, чтобы не идти в камеру, где желтый мутный свет, тишина и всегда пугающее меня одиночество. Мне

и есть-то совсем не хотелось, но только невыносимо было сидеть одному в пустой камере, шуршащей, шаркающей тишине, и лучше бы еще два часа препираться с этим высохшим сморчком – дежурным, чем идти в камеру, где я буду один, а для меня нет ничего страшнее, чем находиться в комнате одному, одному засыпать и одному просыпаться. Штук тридцать психиатров и невропатологов смотрели меня – лысые и косматые, совсем уж потрясучие от старости и здоровенные обломы, похожие на футболистов, сладенько-вкрадчивые тихони и громыхающие нахалы, и все они стучали меня по коленям своими молотками, водили перед глазами пальцами, спрашивали, нет ли в роду алкоголиков, сифилитиков, психопатов, многозначительно бормотали: «психостенические наклонности по Банщикovu», «синдром Корха», «клаустрофобические симптомы Циндлера», прописывали мне массу всяких порошков, капель, психотерапию, холодный душ, и, конечно, вся эта лабуда помогает мне как мертвому припарки. Стоит мне остаться в комнате одному, не помогают ни снотворные, ни валерьянка, ни элениум, ни седуксен – ничего не помогает, и начинает меня душить бессонница, тоска холодным утюгом наваливается на грудь, и, если случается задремать ненадолго, приходят кошмары, липкие, пристающие, нелепые; они в бессмысленном калейдоскопе поднимают со дна памяти всю дрянь и грязь, все то безмерно противное, что хотелось бы забыть навсегда и о чем наяву не вспоминаешь, а стоит прикрыть глаза в тишине пустой комнаты – и все они здесь, и мечешься во сне, кричишь, плачешь, пытаешься сбросить навязчивую одурь, а они держат цепко, не пускают, и приходится выдираться из сна, как из водолазного костюма с оторвавшейся воздушной трубкой. А проснувшись, долго не можешь успокоить дыхание и чувствуешь себя гадко и стыдно, словно вынырнул из выгребной ямы.

Поэтому я и препирался с дежурным, и грозился, и стыдил его, пока ему не надоело. Он вновь открыл ящик стола и протянул мне свой сверточек с бутербродами:

– Если вам так не терпится – нате поужинайте. В бачке кипяченая вода.

– Ну уж нет! – важно сказал я. – Мы люди бедные, но гордые, нам подачек не надо. Я сыт буду, когда вас всех за нарушение социалистической законности сурово накажут. – И тут я быстро к нему наклонился через стол и сказал тихо-тихо, почти шепотом, но отчетливо, чтобы он каждое слово слышал: – Вам до полной выслуги сколько не хватает? Совсем малость, видать? И вдруг без пенсии – на волю! А-а? Вот поворотец для карьеры!

Дежурный положил сверточек на стол, накрыл его обеими руками, будто вдруг ужасно застеснялся или очень испугался, как если бы он мне не бутерброды свои отдавал, а предложил взятку и я с гневом отказался от нее, а он теперь не знает, что ему делать с этими проклятыми бутербродами, хоть бы в стол втереть, и сидел он так, прикрыв сверток своими корявыми ладонями, довольно долго, потом заглянул в протокол, наверное, чтобы фамилию мою вспомнить, и стал смотреть на меня, но уже не в дурацкие свои очки, подвязанные мулине, а просто сощутив бесцветные узкие глазки на сухом, печеном лице, и неровный бобрик у него на темени от напряжения двигался.

– Очень вы плохой человек, гражданин Дедушкин, – сказал он тихо.

Я радостно захохотал и спросил:

– А вы хороший?

– Я обыкновенный. Кабы мне право такое было дано, я бы вам в паспорте написал, в графе «Особые отметки» – «плохой человек».

Размял сигаретку, закурил и сказал ему:

– Вот видишь, старшой, какой огромный рост гуманизма в твоей профессии. Раньше таким людям, как я, на щеках и на лбу такие, как ты, каленым железом отметку делали. А ты только о паспорте мечтаешь. Но даже и этого не можешь.

Он еще подвигал своим тусклым, пыльным бобриком, пожал плечами:

– Да, не могу. – Помолчал и вдруг добавил: – Может, оно и к лучшему...

Я смотрел в узкие невыразительные щелки его глаз, и плавала в них мука немоты, страстное желание сказать мне как следует, врезать по сусалам, съязвить, посмеяться или, может быть, что-то объяснить, все его сухонькое лицо выражало это неудержимое и совсем бессильное стремление, подергивались вислые щечки пожилого хомяка, покраснела иссеченная жилками кургузая картошечка носа, зло и в то же время жалобно подергивались губы, и я видел, как сильно он хочет мне сказать, что клеймить раскаленным железом живого человека – это не профессия, его или моя, а это характер – его или мой, и, доведись нам сместиться во времени, еще неизвестно, кто из нас кому врезал бы в бритый лоб дымящееся, вишневое от жара клеймо. Но он не мог этого сказать, он только чувствовал это, а сказать, хоть убей, не мог. Ему трудно все это было сформулировать, потому что в отличие от меня не прожил он такой насыщенно-бойкой жизни, а просто просидел все годы, как пень, в этой дежурке и сторожил таких орёликов, как я. И его не тяготили, как меня, десять классов средней школы – кошмарный стандарт всеобщей образованности. Поэтому он понапрягался, потужился, помучил себя и сказал только:

– Эх, беда с вами! Не хотите вы жить по-людски, правильно жить не хотите! Сидите тогда, черт вас побери, в тюрьме, коли с людьми вам невогнать!

И не успел я спросить его, с кем это беда – «с вами», – со мной лично или со всем нашим братом вором. А он уже отправил меня в камеру.

Захлопнулась железная дверь, протопали по коридору шаги конвойного, и поползла на меня из углов тишина. Походил я по камере, расстелил на нарах плащ, прилег, а тишина проклятая шуршала, грозилась, пряталась, смотрела тускло из паутины в углу, маячила грязным светом сиротливой лампы под потолком, струйками вливалась через оконную решетку, стелилась по полу, как дым, давила на уши и глаза, пугала. Нервы проклятые...

Значит, жить я не хочу по-людски? Эх вы, дураки!

Я-то как раз очень сильно жить хочу, и жить по возможности хорошо. А поскольку я жить хочу хорошо, то наплевать мне на то, что там думают по этому поводу и Тихонов, и его приятель – рыжий мент по фамилии Савельев, и дежурный, старый вертухай, и все это безмерное дурачье под названием потерпевшие. Штука в том, что все они не хотят жить хорошо, а хотят жить правильно. Они бы наверняка не возражали жить хорошо, но только если это совпадает с их убогими представлениями о правильной жизни. Но вот беда их извечная и проблема неразрешимая во все дни их тягостные – не бывает так, и понять они этого не в силах, – что правильная жизнь приятной не бывает. Они скулят, жалуются или, стиснув зубы, влачат бремя своей праведной жизни, но никогда им не хватает ума сообразить такой пустяк – не бывает так, чтобы сразу было и хорошо и правильно. И сколько бы мне ни доказывали, будто то, что для одного хорошо, для другого может быть совсем неинтересно и за-ради правильной жизни можно потерпеть, не поверю я в это. Я так думаю, что как раз правильная жизнь – с весельем, удовольствием и радостью – она для всех одна. Если ты молодой, здоровый мужик, то какие бы у тебя ни были вкусы, все равно хотеть будешь то же, что и все остальные, – вкусную жратву, крепкую выпивку и горячую бабу. И нет людей, которые этого не хотят. Есть которые не могут. Не могут, потому что нет здоровья, или нет монеты, или времени нет, а самое главное – нет сознания своего права на все эти нужные и приятные вещи.

Вот это сознание своего права на хорошую жизнь и есть наиглавнейший момент, без которого многие – с деньгами и здоровьем – влачат довольно тухлую жистишку. Потому что если ты не прочувствовал в себе права – не желания, а права – жить хорошо, то лучше живи тогда правильно. Грызи банан и размышляй, насколько твоя жизнь лучше моей, потому что ты человек почтенный, платишь профсоюзные взносы и не боишься, что на платформе Киевского вокзала тебя остановит рыжий сыщик по фамилии Савельев и поинтересуется содержанием твоего чемодана. Неинтересно сыщику Савельеву смотреть в твой чемодан, потому что ты живешь правильно и в дерматиновом брюхе твоего баула лежат линялые рубашки и мятые

брючата, на которые ты набрал с двух получек – ведь за правильную жизнь платят до обидного мало. А интересно заглянуть ему, наоборот, в мой чемодан, потому что, во-первых, он не мой, во-вторых, он набит дорогими и дефицитными шмотками, а в-третьих, – и это тоже важно: для меня-то это, во всяком случае, ужасно важно: все это добро стало моим за пять минуточек хорошо обдуманного и рассчитанного в каждом движении риска.

Но если много раз подряд все получается удачно и риск уже не горчит испугом, а только приятно взвинчивает, как акробата перед прыжком, то в один не очень-то прекрасный день врезаешься рожей об забор. Вот как сегодня. Ведь правильно живущие люди ужасно недовольны, когда я живу хорошо. Они в какой-то мере справедливо полагают, что моя хорошая жизнь складывается из тех крупниц хорошего, что я увожу у них. И за это они меня сильно не любят. Достаточно любому из них, пускай до этого он меня никогда не видел, не слышал обо мне и я у него зерна макового не тронул, но каждому из них покажи на меня пальцем: «Этот вор!» – и он начинает меня сильно не любить. И чувство это стойкое и острое, потому что всегда оно густо замешено на любопытстве: «Откуда такие берутся?» И никак вы понять не хотите или не можете, что беремся мы оттуда же, откуда и вы, – из жизни, обычной людской жизни.

И не любите вы меня, граждане люди, еще не только за то, что беру я ваше и живу вашим, и, причинив вам зло, творю себе этим добро. Это вы простили бы мне, ведь не убил же я никого из вас, не украл последнее, ни один жадюга не повесился от моей кражонки! Ненавидите вы меня не за то, что живу я вашим, а за то, что живу не по-вашему.

А сейчас вы нутром своим, тысячелетним инстинктом, голосом крови своей, прямо-таки биологическим отвращением отвергаете меня, вот точно как овца начинает биться и хрипеть, едва почуяв волчий дух.

Не знают правильно живущие люди, да и знать, конечно, не могут, но чувствуют всегда, понимают, догадываются, всеми фибрами души ощущают, что вся наша жизнь настолько разная, что, стоя с ними на одной ступеньке эскалатора метро, будто пребываю я совсем на другой планете. Я поздно ложусь и поздно встаю, и никогда у меня руки не гудят от тяжелой работы, и устаю я только от нервного напряжения да оттого, что хорошо живу, – ведь это тоже утомительное занятие, и напиваюсь я не в праздники, а когда хочу, и «запорожец» мне не нужен, потому что наше самое дешевое в мире такси действительно надежный и удобный вид городского транспорта, ну а пенсия, как верно заметил этот змей Тихонов, мне действительно не полагается, вот я и не думаю о ней никогда. А детей с их визгами, пеленками и слюнявыми «угу-гу» я просто не люблю. Остается жена. А на кой мне жена, если в мире баб на полтора процента больше, чем мужиков? Принимая во внимание масштабы нашего поганого человечества, это пятьдесят миллионов баб на мою долю. Если отбросить старух, несовершеннолетних, лесбиянок и уродин – все равно миллионов двадцать мне останется. Из такого количества невест пойди сделай выбор – обязательно ошибешься и будешь потом кусать локти. Так что и жена мне не нужна, обойдусь невестами, тем более что сейчас все эти понятия сильно перемешались.

Вот и выходит – не за что людишкам любить меня. Да и я-то, если по-честному говорить, от них не то чтобы в бешеном восторге. Они ведь не знают, что я живу лучше их, а все равно страшат мной детей и сильно обеспокоены всегда, как бы их бесценные чада не пошли по моему скользкому пути. А я бы в жизни свой скользкий путь на ваши гранитные дороги не променял!..

Вот в этом месте своих размышлений «за жизнь» и поймал я себя на том, что я не на бану, и не на малине, и даже не у следователя в кабинете. Я ведь в КПЗ – один я здесь, в камере, нет никакой аудитории, и не говорю я, а думаю, думаю, совсем я тут один, значит и наигрывать нечего, и врать самому себе незачем. Великий ученый Карл Маркс не то сказал, не то написал где-то, что бытие определяет сознание. Вот и у меня от многолетнего общения с блатными появились их замашки – норов истерический и привычка врать всегда, в том числе и самому себе. А врать себе – занятие очень увлекательное, но опасное. Никакой лжи человек

не верит так радостно и с такой охотой, как своей собственной, и если с этим делом пережить маленько, создается придуманный понарошечный мир, очень уютный и приятный, но это не мир, а мираж, и, пока он ласкает, успокаивает твою воспаленную голову, ноги, а вернее, руки аккуратно приведут тебя в тюрьму.

Врать себе глупо, а ложь состоит в том, что я изо всех сил стараюсь не думать о тюрьме. О том, что я уже в тюрьме. Конечно, КПЗ еще не тюрьма, но разница, в общем, чисто условная. Как говорил карманник Сережка Мичман, КПЗ – это комната принудительной задумчивости: «Попал сюда, хошь не хошь, задумаешься – как сюда притопал, куда отсюда поползешь». Ну ладно, все-таки КПЗ не тюрьма, отсюда на волю выскочить легче, чем из следственного изолятора № 2, в просторечье именуемого Бутырками. И мы еще побьемся. Как говорит мой дед, еще конячья мама не сдохла. Иначе коли Тихонов разыщет потерпевшего, то придется менять это уединенное жилье на общую камеру в Бутырках, потом следствие, суд, и исправлять меня начнут в колонии строгого режима, а это много хуже, чем правильно жить, даже если жить правильно не так уж приятно.

Глава 5

Стена инспектора Станислава Тихонова

Мотоцикл «Индиана» загрохотал часто и сильно, как сдвоенный зенитный автомат, – чтобы глушители не забирали мощность, их не ставят на гоночные машины. Гога Иванов сел в седло, дал форсаж и сказал мне:

- Садись передо мной, на бак. Потом я сдвинусь назад, и ты поведешь сам...
- Упадём, наверное?
- Нет. Мы никогда с тобой не упадём. Падать нельзя: убьёмся.
- Я ведь не умею.
- Не важно. Жизнь коротка. Надо узнать все.

Мы стояли внутри огромной, высотой с двухэтажный дом «бочки», где на самом верху была сделана галерейка для зрителей аттракциона «Гонки по вертикальной стене». Но сейчас почему-то зрителей не было, и я жалел об этом, поскольку с ними было бы легче: если номер удастся – приятно насладиться триумфом, а если грохнемся – то лучше, когда рядом люди. А мотоцикл гремел и вырывался у Гоги из рук, и он говорил мне грустно, но твердо:

– Садись, надо ехать. И зрителей не будет – когда человек решается ехать по стене, он делает это один.

– А ты?

– Я не в счет. Это моя жизнь, моя работа. Людям необходимо, чтобы кто-нибудь мог в любой момент проехать по стене.

– Но ведь это бессмысленно! Это же ничего людям не приносит!

– А что ты приносишь людям, когда ловишь убийцу? Ты ведь не можешь возместить причиненный им вред.

– Но это необходимо человеческой справедливости, спокойствию и уверенности остальных людей!

– Правильно. Людям нужен не только хлеб. Им нужна уверенность. Каждый хотел бы проехать по стене хоть раз в жизни, но не всем удастся. Я езжу изо дня в день, чтобы напоминать людям: это можно, просто надо не забывать о необходимости хоть раз проехать по стене.

Я сидел перед ним на баке и слышал сквозь тягостный грохот мощного двигателя его ровное, спокойное дыхание.

– Поехали?..

Горячий бензиновый дым, дрожит от рева круглая деревянная стена «бочки», которая отгораживает нас от всего мира, от триумфа и позора, от смеха и сочувствия, оставляя один на

один с собой, она дрожит от нетерпения проверить – можешь ли ты хоть раз в жизни проехать по стене?

– Поехали.

Захлопнулась дверь, через которую мы вошли на дно «бочки», – последняя возможность вылезти и жить, как жил раньше, и не ехать по стене, а купить лучше войлочные тапки, стать серьезным человеком, достойно и красиво устроить свою жизнь. Но тогда я больше не смогу никогда прийти сюда, на галерейку, ни с любимой, ни с друзьями, ни со своими детьми, потому что каждый раз, когда Гога Иванов будет в реве и дыме стартовать внизу, а затем стремительными спиралями поднимаясь вверх по стене, вместе с ним со дна «бочки» будет подниматься мой страх, победивший меня в игре один на один. И сколько бы впредь ни представилось случаев проехать по стене, страх всегда будет победителем...

Дрогнул ребристый каучук переднего колеса, мелькнули, сливаясь в сияющий диск, спицы, тяжелый мотоцикл покатился по круглому манежу, застонали досочки пола, ближе к краю, рядом стена, первый круг пройден, все мелькает в глазах, мотоцикл нагибается внутрь манежа, откос у стены, сейчас мотоцикл развалится от напряжения, толчок, толчок, небо рухнуло на плечи и вжало, вбило меня в машину, а перед нами узенькая дорожка, отвесно поднимающаяся вверх, но мотоцикл почему-то не падает, а все время с рокотом взлетает, и дорога загибается за нами, и я с ужасом вижу, что вишу вниз головой, и только тут соображаю: мы мчимся по стене! По стене!

Дорожка – это и есть стена. Но больше она никогда не будет возноситься надо мной, ее вертикаль бессильна – я проехал, промчался по второму измерению, по страху и войлочным тапкам! Значит, меня не так мало! Пусть еще строят стены!..

Так я и проснулся с ощущением какого-то удивительного счастья, огромной победы и долго не мог поверить, что ничего этого не было, не хотел верить, что все приснилось; и хоть я знал, что Гога лечит в санатории сломанную руку, мотоцикл «Индиана» стоит тихий, забытый в сером пустынном сумраке гаража, а сейчас апрель и аттракцион не работает, но все равно я не хотел и не мог поверить, что сегодня ночью, сейчас, только что я не ездил по стене. Мне очень надо было знать, что я могу проехать по стене. Потому что в тридцать лет человек должен знать о себе все, а поскольку мы так или иначе не можем узнать о себе все, то надо знать, по крайней мере, готов ли ты проехать по стене.

Звонил телефон пронзительно и долго, а я лежал, не открывая глаз, и ощущение радости и силы оставалось, будто все произошло на самом деле, и я верил, я точно знал, что на самом деле было бы все так же. И в этой дреме, пролегшей узким мостком между сном и явью, я протянул руку и снял трубку, в которой булькал, захлебываясь словами и чувствами, голос Сашки Савельева. Вначале он меня ругал, кажется, за лень и тунеядство, потом сказал четко и раздельно:

– А потерпевший не объявился... – И в голосе его я услышал растерянность и удивление.

Я проснулся окончательно:

– Мысли есть? Излагай...

Сашка говорил, что он уже обзвонил все линейные отделения – заявления о пропаже чемодана не поступало, и еще что-то долго и путано объяснял. Говорил он все время как-то бубниво-монотонно, как будто чувствовал за собой какую-то вину. Наконец мне надоело.

– Все, рапорт принят. Распорядись доставить Батона, я через полчаса буду в управлении...

Глотая обжигающий чай, я лихорадочно обдумывал линию разговора с Батоном. Кроме абсолютной уверенности, что чемодан ворованный, я не располагал никакими уличающими Батона фактами. А обвинений, построенных на одной уверенности, не существует. Шестнадцать часов сидит Батон, а потерпевшего нет. Ситуация грозная. Впрочем, один шанс есть...

Когда я вошел в кабинет, Сашка оживленно беседовал с Батоном. Молодец Батон. И не думает сдаваться. Ну что ж, у него, помимо сдачи и чистой победы, есть выигрыш по очкам. Я повесил плащ в шкаф, пригладил волосы и сел к столу. Батон выглядел веселее и оживленнее, чем вчера, но я ощутил в этой приподнятости звенящее напряжение ожидания. Ведь долгие годы Батон изучал юриспруденцию с другой стороны моего стола и хорошо знал, что если мы сейчас не введем в кабинет хозяина чемодана, значит потерпевший не объявился, значит доказать его вину юридически почти невозможно и тогда он еще с нами потягается. Что ж, приступим.

– Скажи, Дедушкин, у тебя есть войлочные домашние тапки?

Это было одно мгновение, практически неуловимое, как солнечный блик на окуляре бинокля неприятеля. Но я его заметил, а может быть, скорее почувствовал: Батон спружинил и сразу же радостно расслабился, уверенный, что мы вышли на чужой след.

– Тапочки? – переспросил он задумчиво.

– Ага, тапочки, – подтвердил я невозмутимо.

– Войлочные?

– Ну да, войлочные.

– Нет. Искренне сожалею, но у меня нет войлочных тапок...

– Вот и прекрасно, – сказал я довольно. – Я был уверен, что у тебя нет таких тапок. Я вот полночи думал о тебе, о себе и об этих тапках.

– Да-а? – неуверенно протянул Батон. Он не знал, куда я веду, и на всякий случай решил воздержаться от рассуждений. – И что?

– А ничего. Вот у меня их тоже нет. Ты не усматриваешь в этом связи?

Батон пожал плечами:

– Не понимаю...

– Я это к тому говорю, что есть такой диалектический закон единства и борьбы противоположностей. А мы с тобой – противоположусы.

– В процессуальном смысле? – живо осведомился Батон.

– Да. И в человеческом тоже.

– Что?! А-а... Ну да... – усмехнулся Батон. – Но это же не основание брать меня под стражу?

– Ну это ты брось! Твою свободу мы... ограничили... по другой причине. Но мы с тобой... как бы это сказать... особая форма общественных отношений – «полицейские и воры»...

Батон весело рассмеялся:

– Все понял. Хотите сказать, что мы, мол, скованы одной цепью?

– Не совсем так. Но из-за формулировок я с тобой спорить не стану. Я хочу сказать, что, пока я сыщик, у тебя войлочных тапок не будет.

– Но ведь у вас их тоже нет? – напомнил Батон.

– Нет, – кивнул я, – хотя они мне нужны. Ты-то мне и мешаешь иметь тапки.

– Да почему я? – искренне возмутился Батон. – На мне, что ли, свет клином сошелся? Тоже нашли короля преступного мира!

– Когда-то ты мне сказал: «Сопляк...»

– Значит, мстите? – прищурился Батон. – Фэ. Некрасиво, совсем некрасиво...

Я покачал головой:

– Эх, Батон, совсем ты, значит, ничего не понял за эти восемь лет.

– Чего ж тут не понять! Побитое самолюбие, как старая рана – и через двадцать лет саднит.

– Да какое же самолюбие? Это я только тогда на тебя обиделся. За «щенка». Теперь-то я понимаю, что и был настоящим сопливым щенком. А ты и сейчас не хочешь смириться, что хоть и щенок, а тебя, старого волка, я все-таки поймал.

– Ну и что?

– А то, что, пока ты вор, а я сыщик, у нас с тобой тапочек не будет. Тем более что прошло восемь лет и я уже не щенок, а ты-то стал уже совсем пожилым, ну просто дряхлым волком...

– Поживем – увидим, – зло блеснул золотой коронкой Батон. – Возможно, за все это вам еще придется извиняться...

– Нет, – решительно мотнул головой я, – мне перед тобой извиняться не придется. Я докажу, что чемодан ты украл.

– Это без потерпевшего-то? – ехидно улыбнулся Батон.

– Почему же без потерпевшего? Я его найду, это я тебе точно обещаю.

– И что это вы так со мной надрываете?

– Потому что у нас с тобой отношения принципиальные. Помнишь, когда я был щенком, я тебе сказал, что воровать нехорошо, а ты посмеялся надо мной? Помнишь?

– Допустим...

– Вот я и сейчас считаю, что воровать нехорошо. Совсем плохо. Просто отвратительно. И все нормальные люди так считают. Но тебе и на меня, и на всех нормальных людей просто наплевать. Поэтому я обязан тебе доказать, что воровать нельзя. Понимаешь – *нельзя*. И каждый раз, как ты украдешь, буду являться я, ловить тебя и сажать в тюрьму. И это будет до тех пор, пока тебе вся эта жизнь смертельно не надоест и позарез понадобятся войлочные тапки. Вот тогда мы вместе и купим их.

– А не наоборот? – хитро прищурился Батон. – То есть *вам* смертельно надоест, а не мне? А? И вы – в отставку... А я спокойно куплю тапки...

Мы все засмеялись, и обстановка у нас была непринужденная, легкая, как за обеденным столом в санатории, во всяком случае, вид у нас был именно такой. Я открыл сейф, достал из него несколько папок, железнодорожное расписание и сказал:

– Шутки шутками, но пора найти потерпевшего. Нам поможет твой преступный почерк.

– Пустячок, а приятно, – оживился Батон. – Обычно мой дедушка, перед тем как мне выспать, вместе со мной проверял, хорошо ли вымокла лоза. При чем здесь мой почерк?

– При том, что ты никогда не хватаешь в вагоне первый попавшийся чемодан. Ты намечаешь себе жертву и «пасешь» ее, дожидаясь нужного момента, ставишь свой «фарт» на точный расчет: по пути следования есть несколько станций, где встречные поезда останавливаются либо одновременно, либо через несколько минут после отправления твоего поезда. Поэтому ты воруеть только на этих станциях. Здесь уж везенье просто необходимо: если на первой станции украсть нельзя, ты дожидаясь следующей, иногда третьей, а иногда и весь прогон бывает холостым. Но как только подворачивается момент, ты берешь чужой чемодан и тотчас же пересаживаешься во встречный поезд. И удаляешься от потерпевшего с удвоенной поездной скоростью. Пока человек хватится, пока доедет до следующей станции, заявит в милицию, пока передадут по линии – ты уже вместе с толпой пассажиров сходишь на платформу в Москве, садишься в такси и отправляешься восвояси. Если, конечно, не останавливает на привокзальной площади инспектор Савельев, знающий тебя по фотографиям в лицо и интересующийся содержимым твоего чемодана. Как тебе нравится мой рассказ?

– Довольно интересно. А с потерпевшим-то что? Без него это только психологический этюд. Увлекательный. И не более... Как вы любите говорить, доказательственной силы в суде не имеет.

– Точно, нужен потерпевший. Ты, Батон, человек умный, опытный и правильно догадался, что потерпевшего у нас нет. Поэтому мы займемся сейчас его вычислением. А ты, может быть, если ошибемся, подскажешь...

– Ну это уж увольте. Я в уголовном розыске зарплату не получаю, чтобы вместе с вами самого себя ловить.

– Да что вы все «деньги» да «зарплата»! – удивился Сашка. – Ведь есть же интерес академический, бескорыстное творчество.

– Как же, как же! Мне за творческое удовлетворение «пятерик» сунут, а вам – по медали. Ничего себе премии на вашем конкурсе!

– За вас, Дедушкин, медаль не дадут, – сказал Сашка. – У нас медали скорее дают за храбрость, чем за сообразительность.

– А нам в суде больше за сообразительность дают, – огорчился Батон.

– Так у вас сообразительность, Дедушкин, вредная, за это и дают много, – вежливо объяснил Сашка.

– Ну-ну, посмотрим, у *вас* какая сообразительность, – сказал Батон, – может быть, вам правильно медалей не дают.

– Может быть, – согласился я. – Итак, начнем сеанс материализации духов. Во сколько ты его задержал, Саша?

– Половина седьмого было. Он шел с кишиневского поезда – восемнадцать двадцать пять. Экспресс «Молдова» называется поезд.

– Отлично. – Я взял расписание и стал выписывать на отдельный лист все остановки экспресса. – Позвони, пожалуйста, в справочную, узнай, не было ли опозданий, остановок и задержек вне расписания.

Пока Сашка трудолюбиво накручивал телефонный диск, я выписал перпендикулярно к графику движения экспресса «Молдова» расписание всех поездов, отправившихся из Москвы от Киевского вокзала за вчерашние сутки.

Кишиневский скорый останавливался девять раз: Котовск – 0:13, Вапнярка – 1:49, Жмеринка – 3:03, Винница – 3:47, Казатин – 4:52, Киев – 7:08, Конотоп – 9:29, Брянск – 13:47, Сухиничи – 15:20 и в 18:25 – Москва. Получились своеобразные оси координат, где кривая движения лежала между временем и направлением. Поэтому один из московских поездов должен был обязательно пересечь какую-то из девяти временных точек движения кишиневского поезда.

Линию пересек в Конотопе «Дунай-экспресс», который прибыл туда в 9:10 и отправился далее в Софию – Стамбул через девять минут. Где-то на ближних семафорах он встретился с подходящей к станции «Молдовой», ни разу в этом рейсе – по сведениям Сашки – из расписания не выходившей. Через семь минут Батон отбыл в Москву. С чемоданом своего попутчика из «Дунай-экспресса».

Ознакомив Батона с результатами своих подсчетов, я спросил:

– Будем теперь всерьез говорить?

– Нет. Вы же знаете, Тихонов, что я не люблю «чистосердечных признаний». Кроме того, я хочу проверить вашу угрозу. Вдруг вы и вправду докажете, что воровать нельзя? – Батон ненадолго задумался и добавил: – Между прочим, вы учили только московские поезда... А с «Молдовой» могли встречаться в этом рейсе и другие?..

– Не-а, нас другие не интересуют.

– То есть? – поднял брови Батон.

– А то и есть, что ваши домочадцы любезно сообщили инспектору Савельеву, что позавчера вы еще были дома. И выехали, следовательно, из Москвы...

– Редкий случай, когда алиби мешает, – засмеялся Сашка.

– Ладно, – сказал я и повернулся к Сашке. – Садись за машинку, я тебе продиктую парочку телеграмм.

Сашка долго устранился на стуле, прилаживался к машинке, потом сказал неестественным голосом, каким возглашают на опустевших платформах машинисты метро:

– Го-то-ов!

– Записывай, диктую: «Фототелеграмма. Контрольно-пропускной пограничный пункт Унгены. Прошу срочно предъявить поездной бригаде „Дунай-экспресс“ № 13 настоящую фотографию для опознания. В положительном случае выяснить, до какой станции имел билет опознанный, где и при каких обстоятельствах он сошел с поезда...»

Батон, отвернувшись от нас, смотрел в окно, на улицу, залитую холодным весенним светом, расчерченную квадратами оконной решетки, и голова его больше не была похожа на носовое украшение фрегата. Он как будто сильно устал от всего нашего разговора.

Сашка спросил:

– Все, что ли?

– Подожди. Я ведь обещал доказать. – Я снял трубку и позвонил дежурному: – Пришлите за задержанным конвой.

Батон, не оборачиваясь, смотрел в окно.

– Пиши, Саша, следующую. «Кишинев, отдел уголовного розыска жел. дор. Прошу произвести по прилагаемой фотографии опознание поездной бригадой пассажира». – Я перехватил Сашкин недоуменный взгляд. – Они ведь из Москвы уже отправились обратно. И последняя телеграмма, в Конотоп: «Линейный отдел ст. Конотоп-пасс. Прошу допросить кассира, работавшего вчера с 9:00...»

Батон шумно вздохнул, откинулся на стуле и взглянул на нас будто откуда-то издалека, желая рассмотреть нас попристальнее:

– А что теперь?

Сашка пожал плечами:

– Теперь мы вас сфотографируем и по фототелеграфу направим снимки в Унгены, Кишинев и Конотоп. Там ваши снимки предъявят. В Унгенах вас опознают проводники, с которыми вы ехали до Москвы, а в Конотопе вас наверняка вспомнит кассир, продавший билет. Билет-то, наверное, в мягкий вагон взяли?

Батон, не отвечая, засмеялся каким-то своим мыслям, немного погодя сказал:

– Замечательный город Конотоп. Войдет в историю тем, что в нем из-за сапог убили Хулио Хуренито и из-за чемодана сгорел Леха Дедушкин, по кличке Батон. – Он провел по лицу руками, будто смывая с него смех. – Это все прекрасно, но вот насчет потерпевшего что?

– Саша, сдай это на телеграф, – протянул я бланки и ответил Батону: – Будет вам и кофе, будет и какава. Найдем, я же обещал.

– Тогда поторопитесь, – сказал серьезно Батон. – У вас времени совсем мало. Часов пятьдесят осталось...

Это он точно сказал. По закону задержанного подозреваемого можно содержать под стражей не больше трех суток. После этого ни один прокурор без солидных доказательств, на одних подозрениях санкцию на арест не даст.

– Ничего, я думаю, успеем, – ответил я ему тоже серьезно. – Я вообще человек не ленивый, а уж для тебя, видит бог, постараюсь от души. Понимаешь, мне в последнее время сильно понадобились тапки войлочные.

В дверь постучали, вошли конвойные. Сашка сказал:

– Все. Гражданин Дедушкин, вам придется пока поскучать, дожидаясь результатов. Если надумаете рассказать чего-нибудь – милости просим, будем рады. Мое самолюбие не пострадает и без проверки сообразительности, и мы останемся довольны вашим добровольным признанием. Так называемым чистосердечным. Вам же лучше – меньше дадут.

– Вот это уж дудки! Я ведь и так могу подтвердить весь этот ваш кроссворд, потому что мой маршрут, который вы здесь так ловко рассчитали, еще не доказывает моей юридической вины. Потерпевший вам нужен.

– Точно, – сказал я. – Очень нужен. Я уж постараюсь. А что касается подтверждения маршрута, то это уже после ответа на наши телеграммы. Тогда будет видно, что ты сам, по своей воле, ни слова правды не сказал, все пришлось делать нам. Суду это будет интересно...

Батон бессознательно заложил руки за спину – на мгновение ослабло внимание, и из глубин всплыл рефлекс, выработанный многими годами хождения под стражей, – и двинулся к дверям. На полпути остановился, взглянул мне в глаза и сказал:

– Помните, в «Празднике святого Иоргена» Микаэль Коркис говорит: «Главное в профессии вора – вовремя смыться»?

– Да, помню.

– А я считаю, что главное в профессии всех фартовых – не расковыривать запечатанных бутылок.

– Почему?

– Никогда не знаешь, из какой выпустишь джинна. Вот я нарушил это правило. – Он повернулся к конвойному. – Ну?..

Захлопнулась дверь, и мы с Сашкой еще минуту молчали, пока он не спросил:

– Ты как его понял – он сейчас выпустил джинна или восемь лет назад?

– Не знаю. Я тоже не понял...

– Ну ладно, тогда загрузи работой: начальник должен держать аппарат в напряжении, – сказал Сашка. Его голова сейчас была особенно похожа на взрыв: красные жесткие волосы стояли дыбом. – У тебя, случайно, в столе сигарета не завалилась? Все выкурил...

Зная, что я не курю, ребята специально кладут в нижний ящик моего стола недокуренные пачки и прибегают ко мне в тяжкие минуты. Я пошарил в столе и нашел красную квадратную коробочку с изображением собачьей морды. Сашка покрутил пачку, положил обратно на стол:

– «Друг». Замечательные сигареты... я такие даже посреди ночи не курю.

– Уж больно ты разборчив, – сказал я сварливо. – Давай лучше к делу. Значит, так: у нас остаются еще два канала информации – орден и фотоаппарат, найденный в чемодане. Орденом займусь я, а ты сдай аппарат в научно-технический отдел и, если в нем есть пленка, поставь перед экспертизой два вопроса: что за пленка в фотоаппарате, страну-производителя пусть установят, и второе – пусть определяют профессиональный уровень снимавшего. Кадры с пленки, коли она там есть, пусть отпечатают крупноформатные.

– Указание получено. А с орденом что ты собираешься делать?

– Думаю отвезти показать его в Исторический музей. Очень уж он меня развлекает, этот орден.

– Чего так?

– Скорее всего, это старый русский орден. Видишь, тут славянской вязью написано: «Святого Александра Невского...» Эта вязь, наверное, и сбила Батона с толку – решил, что болгарская. Непонятны две вещи – зачем такую драгоценность возят с собой в чемодане и кто тот человек, которому он принадлежит.

– Когда будешь?

– К вечеру, наверное. И брось, пожалуйста, свою паскудную привычку отвечать на любой телефонный звонок, что я буду через двадцать три с половиной минуты.

Когда меня не бывает на месте, Сашка выдает такие ответы, что людей на другом конце провода бросает в дрожь. Всем женщинам он говорит коротко, но внушительно: «На операции...», хотя знает, что я поехал на вещевой склад за новой шинелью или в судебный архив за справкой. У него на этот счет есть даже теория, которая сводится к тому, что служащему или производственнику трудно поверить, что порой наша работа может состоять из целодневного болтания по городу и очень часто совсем безуспешного. Или просто в долгих бесплодных поисках какого-нибудь пустякового свидетеля, а то и вовсе в стрельбе в тире или борьбе самбо. Если ты сыщик или следователь, то давай целый день допрашивай преступников, а ночью сиди

в засаде или проводи обыски и задержания. Поэтому, мол, не надо разрушать иллюзий о характере нашей работы, вносить новые сомнения в несколько поколебленную романтику нашей профессии.

Я вышел на улицу, и солнечный свет был такой яркий, плотный, холодный, что хотелось плыть по нему. Тени от людей ложились на асфальт синие, точные, и не было полутонов, а голые деревья, впечатанные в тротуар железными решетками, казались нелепыми конструкциями, расставленными вдоль улиц, как абстрактные украшения в современном интерьере. И в этом яростном неистовстве света, отбрасывающего от каждого препятствия четкую злую тень, где добела рыжий цвет уничтожил все остальные, оставив лишь черно-синий, была какая-то прямолинейная непримиримость, крикливая незавершенность природы. В такие дни, когда тебя еще не разморила радость начала весны, нег теплового воздуха, пока не охватило бессмысленное чувственное блаженство от одного ощущения, что ты живешь в этом прекрасном мире голубых рассветов, клейкой молодой листвы, прозрачных снеговых луж, я думаю, что жизнь все-таки складывается не так, как хотелось бы. В такие дни этот нестерпимый свет высвечивает тебя насквозь лучше всякого рентгена, потому что лучи старого умного немца не могут показать душевные рубцы, проявить незажившие душевные раны, не зафиксировать очаги жизненной неудовлетворенности. Да и вообще он утверждает, что нет такого органа у человека – душа. Легкие есть, мозг, сердце есть, а души нет. Он был большим утешителем людей, настоящим лириком, мудрый физик Рентген, лучи которого снова подтвердили, что никакой души у человека нет, а потому и болеть нечему. И поэтому тебя на улице ждет апрельский свет, холодный, яростный, непримиримый, не знающий, что у тебя нет души, и высвечивающий все ее закоулки. Он будит память, как дремлющего зверя, и бросает его на тебя, когда ты с ним не хочешь и не можешь бороться, когда ты уже понял, что не может быть мира между мечтой и буднями, и согласен провести в душе хотя бы линию прекращения огня. Но апрельский свет не знает компромиссов, ты его не уговоришь, потому что он – это ты, а себя не обманешь. И не выключишь его, потому что это свет твоей молодости, острота необломанных углов, не шлифованных опытом терпимости.

От этого, наверное, охватывает меня в такие дни мучительное волнение, стремление что-то сделать, все изменить, куда-то бежать, купить войлочные тапки или промчаться по стене. А по ночам снятся цветные сны растворившегося в годах детства, когда ты счастлив в ощущении своей вечности и нужности людям, когда нет времени дня, а существуют лишь времена года и никогда не возникает вопрос, зачем ты живешь на земле. Мне снятся мои товарищи, нет, не сегодняшние, солидные, уже седеющие мужи, обремененные служебными проблемами или нехваткой грудного молока у супруги, а те ребята из вечности, из моего чувства бессмертия и целесообразности моего существования. Я никак не могу поверить, будто это одни и те же люди, восходящие по спирали своего качественного развития. Потому что они вновь вернулись к начальной точке мировосприятия, хотя жизнь и развеяла для них иллюзию бессмертия и заставила ответить, зачем они живут на земле. Став взрослыми, они просто забыли про бессмертие, и от этого оно родилось вновь, только отодвинувшись на задний план, как старая декорация в театре. Но был еще вопрос: «Ты зачем болтаешься по миру?» И они ответили на него, став инженерами, врачами, летчиками, то есть людьми, в общественно-историческом смысле в сто раз более ценными, чем я. Так, во всяком случае, многие считают.

Я где-то читал, что каждые семь лет в человеке происходит полная замена всех клеток. Вроде бы заново появился человек, только не враз, а постепенно. Значит, я должен был уже четырежды обновиться, и если бы это случилось, все было бы наверняка нормально. Но мне кажется, что когда-то – в семь, а может, в четырнадцать лет – что-то сломалось в моем генетическом механизме, и больше ничего не изменялось, и я рос только количественно, унося в страну взрослости маленький прямолинейный мир детства, который никак не уменьшается, не влезает или выпадает из гибкой округлой рамы моей нынешней повседневной жизни. И с

годами моя память, пробивающаяся сквозь сумрак времени лучами игрушечного проектора – аллоскопа, превратилась в мучительный апрельский свет, проходящий сквозь всю мою жизнь и никогда не дающий ей развалиться на отдельные бессвязные куски, обрекший меня на пожизненный моральный дальтонизм, ибо я не различаю полутонов, а из всех цветов для меня существуют только белый и черный.

Но, кроме того, когда бушует на улице апрельский свет, я всегда думаю о Лене. Он не позволяет мне забыть ничего, и тогда я снова жалею, что клетки во мне замерли и не хотят сменяться новыми, потому что за это время я успел бы полностью переродиться и сбросить себя прежнего, как змея сбрасывает старую прошлогоднюю кожу, и, став совсем, стопроцентно, новым, смог бы навсегда все позабыть. Но оттого что клетки не меняются, я и сам остаюсь таким, как был, и не хочу ничего забывать, и в этом вихре ослепительного света часами бесцельно вспоминаю все и думаю о Лене, о себе, о нас обоих, о том, как могло бы быть и ничего не получилось. И наверное, оттого, что клетки не меняются, они устают, и тоска моя перешла в ровную грусть, которую почти не беспокоит этот неистовый свет, если только накануне мы не встречаемся ночью в ресторане, куда я прихожу есть борщ.

Я шел по улице Горького через этот нестерпимый свет, будто плыл в нем, зная, что человек освобожден от бессмертия, потому что ему очень трудно ответить на вопрос, зачем он вообще живет. А во внутреннем кармане пиджака лежал тяжелый драгоценный крест, волнующий своей непонятностью, как таинственный знак каббалы, определяющий судьбу.

Глава 6

Пасьянс вора Лехи Дедушкина

Рыжий милиционер Савельев разложил на столе, как карты в пасьянсе, цветные фотографии. Снимки, черт бы их побрал, были интересные. Очень красивая девица, мужчина лет тридцати пяти и мужчина лет пятидесяти. На шести карточках сняты девица и пожилой, на трех – девица и молодой, на одной – оба мужчины и, наконец, на последней – только пожилой. Савельев передавал Тихонову их именно в этой последовательности, и я понял, что у него уже есть на сей счет какие-то соображения. Я ведь этих фотографий не видел, мне и самому было интересно посмотреть, чего они там наснимали. Вот фокус-то получится смешной, если тот хмырь был шпионом.

Фотографировались на улицах, на фоне каких-то памятников – видны были только части их, один снимок был сделан, скорее всего, в гостиничном номере – современная обстановочка с рекламной картинкой. На этой фотографии девица в узеньком бюстгальтере и трусиках сидела на коленях у пожилого гражданина, нежно обнимая его за толстую шею. Фигура у девицы была великолепная, и она это знала наверняка и позировала так, чтобы лучше можно было рассмотреть груди. А ноги, длинные-длинные, стройные, с круглыми коленями, расчеркивали снимок пополам.

– Ваше лихоимство, Дедушкин, вынуждает нас быть нескромными и рассматривать картинки из интимной жизни посторонних людей, – с тяжелым вздохом сказал Савельев.

– А вы поберегите свое целомудрие, – посоветовал я ему. – Не смотрите.

– Не могу – служба, верность долгу обязывают меня рассматривать все это очень внимательно, – ответил Савельев серьезно. – Тем более что девица напоминает – внешне, конечно, – одну мою старую знакомую, которая из всех театров предпочитала ресторан. Пришлось ей меня бросить. А вы так и не вспомнили, кто эти люди и где вы их фотографировали?

– Нет, не вспомнил. На курорте, наверное, в прошлом году. Лица-то вроде знакомые, а вот точно не припомню.

– Ну-ну, допустим, – сказал Тихонов. – А чего же вы себя не запечатлели в этом теплом коллективе?

– А я на первых тринадцати кадрах не снимаюсь. Примета плохая. Я как раз на следующем хотел сфотографироваться, да не успел, наверное.

– Такая предусмотрительность греет мое сердце, – сказал Савельев. – А где пленочку цветную достаете? Это же дефицит сейчас.

– В магазине на улице Горького была.

Савельев записал ответ, дал мне расписаться, потом поцокал языком и достал из ящика бланк.

– Ц-ц-ц... Никак эксперты наши ошиблись? Пишут-то чего: «Извлеченная из аппарата пленка производится в ФРГ компанией „ИГФИ“, цветная, обратимая, светочувствительность семнадцать дин, в СССР не импортируется...»

Тихонов засмеялся и сказал:

– Дедушкин, сейчас самая пора схватиться за голову и заявить что-нибудь вроде «эх, старость не радость, склероз проклятый!» и вспомнить, что аппарат ты давно купил вместе с пленкой у какого-то поиздержавшегося иностранца... Врать, так с размахом.

Положение у меня было, конечно, аховое, поэтому я доверчиво посмотрел на него, хлопнул себя ладонью по лбу и сказал с нажимом:

– Эх, старость не радость! Склероз проклятый! Вспомнил! Я ведь давно купил этот аппарат вместе с пленкой у одного поиздержавшегося иностранца! Говорить правду, так с размахом, всю до конца! Чистосердечно, с искренним раскаянием!

У Савельева в глазах полыхнул нехороший огонек, но он, сморкач несчастный, постарался сдержаться и сказал невозмутимо:

– Давайте, Дедушкин, поразмышляем вместе над этими фотографиями.

– А чего там размышлять? Разлагается буржуазия как хочет, – сказал я вроде с юмором, но, наверное, раздражение мое уже заметно просвечивало.

– Э-э, нет, – не согласился Тихонов. – Джинны, вырвавшись на свободу, хотят понять, что вокруг них происходит.

– Да-а? – осторожно спросил я.

– Несомненно, – заверил меня Тихонов. – И могущество их не от Бога, а от дьявола и заключается в знании, которое они добывают трудом и любознательностью. Итак, мы располагаем тринадцатью фотоснимками...

Он взял фотоснимки, сложил их в одну пачку и перетасовал вроде карточной колоды.

– Чтобы осмыслить их содержание... Что нам надо, Саша, чтобы осмыслить их содержание?

– Система, – бойко отрапортовал Савельев. – Она необязательна только для камерного снимка с полуобнаженной девицей, где формы исчерпали содержание.

– Нужна система, все правильно. Теперь надо решить, что нам взять за основу для классификации. Дедушкин, есть соображения?

– Я свои соображения для другого применяю, – категорически отказался я от соавторства.

Они сделали ставку на то, чтобы раскатать меня на перегрузках страха, и если я сделаю ошибку в расчетах у них на глазах, тогда дело мое будет швах. Они не случайно вели все эти разговоры в моем присутствии – они ведь рассчитывают, что я не выдержу «психологической атаки» и сдамся. И когда они впотьмах шарили в омуты моей тайны, сердце у меня все время сжималось в тревожном предчувствии, даже, скорее, предвидении – сейчас нащупают, ухватят, и тогда все запирательство станет бессмысленным, и, как говорится в любимой песне: «...опять, опять передо мной – решетка, вышка, часовой...» Все свои маневры они проводили у меня на глазах, неизбежно выводя меня из равновесия. Только бы не ошибиться. Мне очень важно было сейчас удержаться в полной «несознанке».

– Раз Дедушкин не хочет думать вместе с нами, разрешите мне внести предложение, – сказал Савельев. – Снимки нужно классифицировать по группам изображенных на них лиц.

– Принято за основу. Против нет? За – двое, воздержавшийся – Дедушкин. Принцип подбора групп? Какие предложения?

– Чего ж тут думать? Везде, где девица, в одну группу, все остальные – в другую, – быстро сказал я, слабо надеясь, что мне удастся сбить их со следа.

Савельев чуть не подпрыгнул от радости:

– Гражданин Дедушкин будет участвовать в прениях только по второму вопросу! Председатель, внесите в протокол заседания. Предложение Дедушкина принимается?

– Проголосуем, – сказал Тихонов безразлично. – Я против.

– И я против, – вроде бы огорченно сказал Савельев. – Вы, Дедушкин, условия задачи, наверное, не поняли. Девулька-то, красавица, нас пока не интересует. В чемоданчике вещи мужские были. Эти трое на снимках – все равно как уравнение $x + y = 5$. Нас пять не интересует – пять оно ведь и есть пять. Нам надо узнать, кто такие x и y .

Тихонов усмехнулся:

– А для этого отложим первый фиш – девица с пожилым. Я тебя правильно понял, Саша?

– Абсолютно. Шесть карточек – основа нашего пасьянса. Выведем за скобки два кадра, там, где девица одна. Они нам не нужны сейчас. Под ними три снимка с дамой и молодым джентльменом. Сюда кладем фото обоих мужчин, а внизу – пожилого. Итого?

Для верности Тихонов пересчитал их пальцем:

– Девица – на одиннадцати, пожилой – на восьми снимках и молодой – на четырех. А все трио вместе – ни разу. Выводы?

Я понял окончательно, что они вышли на цель точно, и тихо сидел, помалкивая.

Савельев поведал:

– Вот видите, Дедушкин, оказывается, Тихонов выполнил свое обещание.

На всякий случай я сказал:

– Не шейте, чего не было, не знаю я тут никого...

– Как же не знаете, – разозлился Савельев. – Мы для вас здесь все как на блюдечке разложили, а вы – «не знаю, не шейте». Давайте еще раз повторю. На снимках три человека в разных сочетаниях, но нигде их нет втроем. Поскольку это сувенирные, памятные снимки на фоне достопримечательностей и тэдэ и тэпэ, значит их было только трое, иначе они все вместе снялись бы. Вот два совершенно одинаковых по сюжету фото, снятых почти с одной точки: старик с девицей около какой-то пушки – это кадр номер восемь, и то же самое на кадре номер девять, но место старика занял молодой. Трое их было, понимаете, трое!

– Ну а если трое, так что? – спросил я.

– А то, что нам нужно, чтобы их не было четверо, – сказал Тихонов.

– Почему? – продолжал я прикидываться дураком.

– Потому что тогда мы точно определили хозяина чемодана, – терпеливо сказал Савельев. – Фотоаппарата, во всяком случае.

– И кто же это?

– А вот этот, молодой, – ответил Тихонов уверенно.

Я старался изо всех сил, чтобы ни один мускул, ни один нерв в моем лице не дрогнул. Так же тупо и настойчиво я спросил:

– Почему вы так думаете?

Савельев покорно наклонил голову и монотонно стал объяснять:

– Из двадцати трех объектов съемки молодой зафиксирован только четыре раза. Трижды его фотографировал пожилой и один раз девица. Это уже достаточно реальное основание предположить, что хозяином аппарата является он. Во-вторых, экспертиза дала заключение, что эти четыре снимка сделаны гораздо менее опытными людьми – выбор ракурса, панорама, а один

кадр немного смазан. Это дополнительно подкрепило наше предположение, что хозяин аппарата – молодой. Ясно? Как, Дедушкин, перед фотографическим ликом потерпевшего, может быть, начнем говорить правду?

– Я так полагаю, что вы обойдетесь без моих признаний, – грубо сказал я.

– Эх, Дедушкин, с вами не в МУРе, а в священной инквизиции разговаривать... – покачал головой Савельев.

Глава 7

Вчера и завтра инспектора Станислава Тихонова

Батона увели, а мы еще долго разглядывали фотографии, пытаясь извлечь из них какую-то дополнительную информацию. Но ничего подходящего найти не смогли. Правда, на заднем плане на четырех снимках был виден бирюзовый «мерседес», причем на один попал даже кусок номера – 392... Остальные знаки загоразживала фигура девушки. Она была сфотографирована, по-видимому, около кинотеатра, потому что прямо над ее головой висел афишный щит, на котором два молодца выясняли отношения – один совал в нос другому пистолет. В рамку кадра влезли три светящиеся буквы названия кинотеатра – «...СКВ...»

– Чего будем делать? – спросил я Сашку.

– Давай пошлем в Унгены фотографию хозяина чемодана. Если поездная бригада его тоже опознает, то вместе с пограничниками там в два счета установят его личность. У них же места нумерованные.

– Это программа-максимум: поездная бригада вернется в Унгены через сорок часов. А через сорок шесть часов надо решать вопрос с Батоном. Ты не забывай – мы ведь могли и ошибиться. Представляешь наши физиономии тогда?

– Да, это будет малопривлекательное зрелище. Но почему он все-таки не заявил о пропаже чемодана?

– Вот и я об этом думаю все время. И орден этот непонятно как попал к нему...

– М-м-да, – промычал Сашка. – Слушай, а тебе не приходило в голову, что мы, может быть, несправедливы к Батону?

– То есть как это? – удивился я.

– А вдруг он действительно не воровал у него чемодан? Вдруг это была какая-то совсем другая операция – фарцовка, укрывательство или что-то еще в этом роде?

Я подумал и отрицательно покачал головой:

– Не думаю. Полным чемоданом вместе с грязным бельем обычно не фарцуют. Но мне кажется, что, независимо от Батона, надо плотнее заняться этим человеком. Тем более что они сейчас для нас, как Аяксы, неразделимы. У меня есть идея...

– За идеи платят только у Херста, – усмехнулся Сашка. – У нас вещественные доказательства в цене.

– Вот давай попробуем оценить по-настоящему наши вещдоки. Я буду по-прежнему ковыряться с орденом. А ты, раз уж так пошло удачно, продолжишь линию фото пленки.

– А что с нее еще возьмешь?

– Надо попробовать выяснить, где они фотографировались. Тут возникает два «если». Первое – если его опознает поездная бригада, и второе – если мы установим, где они фотографировались; тогда это открывает для нас дальнейшую перспективу.

Сашка, не вдаваясь в обсуждение, сразу кивнул:

– Надо произвести архитектурную и скульптурную экспертизу – специалисты, возможно, по памятникам определят, где они установлены.

– И еще одно дело надо будет завтра же организовать. Внешнеторговая организация «Экспортфильм» должна, по-видимому, получать проспекты всех зарубежных фильмов. Там навер-

няка должна быть какая-то просмотровая комиссия. – Я протянул Сашке снимок с девицей на фоне киноафиши.

Заканчивался еще один день. Сашка ушел, и я долго сидел один в кабинете. Верхний свет я погасил, настольная лампа вырывала из темноты сплюснутый желтый круг, из коридора доносились звуки шагов и обрывки разговоров уходивших домой сотрудников. Потом все стихло, и кабинет затопила густая, вязкая, как нефть, тишина. На работе мне нечего было делать, впрочем, как незачем было и спешить куда-то, поэтому я и сидел в этой теплой, сонной тишине, лениво передвигая по желтому сплюснутому кругу тяжелый золотой портсигар. Наверное, многое нужно иметь или многого достигнуть, чтобы позволить себе таскать такую дорогую штуку. Подобного портсигара я еще никогда не видел – вся нижняя крышка была покрыта гравировкой нотной партитуры. На лицевой стороне монограмма – «П.В.». На месте хозяев таких дорогих вещей вместо никому не понятных нот и таинственных инициалов я бы гравировал свой почтовый адрес – для сохранности. Долго сидел я так, и мысли текли неспешные, тягучие, как этот пустой весенний вечер, когда не к кому пойти, да и идти неохота. Потом набрал телефонный номер. Трубку сняли мгновенно, будто ждали моего звонка, и я услышал:

– Нет, милочка моя, вам с сольфеджио еще надо повременить, извините, я только отвечу. Аллёу! У телефона.

– Здравствуй, мама. Это я.

– Стас, мальчик мой! Здравствуй, родной! Ты совсем меня забросил! – началось обычное телефонное представление.

Я мог побиться об заклад, что мать сейчас стоит, облокотившись на рояль, прижимая ухом трубку к плечу, и прикуривает новую сигарету, пока другая дымится в пепельнице на столике, а глазами, бровями, губами, всей своей богатой и пластичной мимикой поясняет очередей дурынде-ученице, что вот он, тот самый, тот мифический, легендарный, таинственный сын-нелюдим! В ее рассказах я выгляжу дьявольски похожим на лорда Байрона, и я ужасно доволен, что от меня не требуется сломать ногу, чтобы придать этой легенде окончательную достоверность.

Вопросы она мне задает «скромненькие, но со вкусом»:

– Стас, никаких перестрелок больше не было?..

– Мама, о чем ты говоришь! Какие перестрелки! Их со времени нэпа нет. Можно подумать, будто по Москве разгуливают банды вооруженных гангстеров...

– Все секретничаешь. А у Ксении Андреевны из профкома украли марки. Ты ничего об этом не знаешь? Может быть, их уже поймали? Не прикидывайся, будто тебе ничего не известно. Настоящие профсоюзные марки. Для взносов.

– Как это ни странно, но я действительно ничего не слышал про марки. Я и не мог и не должен был слышать про эти марки, их вообще, наверное, скорее всего, потеряли...

– Ах, Стас, чтобы успокоить меня, ты что угодно наговоришь!

– Мама, я не успокаиваю тебя, потому что тут и волноваться не из-за чего. В жизни есть масса всяких вещей, из-за которых стоило бы волноваться.

– К сожалению, вы, дети, никак не можете понять, что большинство наших волнений – из-за вас.

– Но я ведь, мама, доставляю тебе очень мало волнений. Я благонравен до противного – я даже не курю, очень редко напиваюсь и не распутничаю, не играю на бегах и в карты. А родителей больше всего волнуют эти пороки.

– Пусть они волнуют твою парторганизацию, эти пороки. Меня волнует, что ты никак человеком не станешь. Я бы тогда, может быть, примирилась с увлечением ипподромом.

– Как я понимаю, твоя ученица еще не ушла и ты можешь своими неосторожными замечаниями разрушить легенду, – сказал я ехидно.

– Ах, Стас, ты еще совсем маленький и глупый мальчишка. И очень злой, – сказала она грустно, – я даже не понимаю, почему ты такой злой.

– От своей праведности. Все праведники очень злые и нетерпимые люди. У них почему-то всегда с желчным пузырем неприятности.

– Ты говоришь со мной, будто я желаю тебе зла, – сказала растерянно мать. – А я ведь тебе только добра хочу...

– Я это знаю, мамочка. И я себе добра хочу. Но, честно говоря, я даже не очень-то понимаю какого. Поэтому я ищу...

– Но тебе ведь уже тридцать! В восемнадцать ищут!

– В восемнадцать, мама, человек обязан идти в институт или в армию, как в семь идут в школу, а в шестьдесят – на пенсию. Я говорю не об этом.

– Но так ты можешь и не найти ничего и никогда!

– Не исключено. Хорошо, что живем мы не в Италии, иначе там бы мы с тобой разорились – там временная оплата телефонных разговоров. Я к тебе лучше заеду попозже, и мы обо всем поговорим...

На троллейбусной остановке было много народу, и я пошел пешком. С Тверского бульвара были видны сияющие айсберги Нового Арбата: опробовали первомайскую иллюминацию. Праздник был совсем рядом.

Я помню, как мучительно медленно тянулось раньше от праздника к празднику время, а сейчас оно будто перешло на какой-то новый счет, побежало, помчалось, не успеваешь оглядываться. А может, это не время, а я сам быстрее побежал через него?

Ушли назад, остались за спиной вчера и позавчера, и год назад, но они не пропали, не растворились в сумерках времени, а замерли, как плиты туннеля, через который я иду к станции счастья. Я думаю, что время постоянно и существует все целиком – как мир, как вселенная. Люди для своего удобства ввели порции, разделили время на доли, как кинолентку на кадры. А потом забыли об этом и стали поклоняться не времени, а порциям, загнав себя в колодец циферблата, в лабиринт перекидных календарей, где вчера предшествует сегодня, которое идет всегда перед завтра. Но ведь всего два дня назад твоё вчера должно было стать завтра! И из-за того, что я часто думаю об этих чудесах, мне непонятны люди, легко и охотно забывающие своё вчера, живущие только сегодня и плюющие в завтра, потому что я свято верю: время не разделить на эти крошечные ломтики, и завтра – это кусок моего вчера. Ведь в движении кинолентка времени может свернуться, и вчера опередит завтра. Кто его знает, какое для этого нужно движение, и, возможно, световая скорость для этого не нужна, а достаточно раз в жизни промчаться по стене. Но смотреть в завтра страшно из-за того, что для этого надо проехать по стене. Мы никогда не могли договориться с матерью, наверное, потому, что она терпеть не может смотреть в завтра. Для неё будущее – ближайшие десять минут, и когда она говорит со мной о моем будущем – это тоже разговор о сегодня. И мне бесполезно говорить с ней о том, что время можно свернуть и посмотреть в своё завтра – оно для неё линейно и непостижимо. Я ни за что не осуждаю её: нельзя требовать от молодой и неприспособленной женщины с маленьким пацаном на руках, когда муж пропал без вести, выполняя задание в тылу врага, чтобы у неё достало сил совершить бросок по стене и рассмотреть свернутую в движении ленту времени. Просто она сказала мне: «Стас, я еще молодая женщина, ведь и мне надо устроить свою жизнь». Я этого не понял и не принял. Тогда я не понимал этого, потому что знал: устраиваются на работу, устраиваются на спецжиры, наконец, устраивают в школе вечер. Но как можно устроить жизнь, я не понимал. Впрочем, и потом я так и не усвоил для себя второго, глубинного смысла этого слова.

Отца я совсем не помню, потому что он ушел на фронт, когда мне было три года. В эвакуации у нас пропали все вещи, и не осталось даже его фотографии, и было у меня лишь полустершееся воспоминание, как незадолго до войны отец принес домой радиоприемник «б-

Н-1», включил его и из загадочного ящика рванул бравурный марш, а я от неожиданности напугался и заревел благим матом, и отец таскал меня на плечах, распевая:

Испугался мальчик Стас —
В дом явился Карабас.
Ну-ка свяжем ему руки,
Ну-ка снимем с него брюки,
Ну-ка всыплем мы ему,
Чтобы помнил Карабас —
Не боится мальчик Стас...

Мне очень нравилось, что мы снимем с грозного Карабаса брюки и всыплем ему по попке, чтобы он не пугал маленьких детей. И больше я ничего не помнил, все растворилось, утекло, исчезло. Иногда я просыпался по ночам и долго бормотал: «Испугался мальчик Стас», пытаюсь этими словами, как заклинанием, вызвать в памяти облик отца, потому что еще мгновение назад он разговаривал со мной во сне, большой, веселый, сильный, но лица у него не было, и это мучило меня как физическая боль.

Мать вышла замуж за преподавателя немецкого языка с той же кафедры, где работал отец. Это был добрый, рыхлый, очень флегматичный и чрезвычайно трудолюбивый человек. Мы переехали к нему и прожили вместе одиннадцать лет, до тех пор, пока я не поступил в институт. Тогда я вернулся к нам на старую квартиру, где живу до сих пор. Вскоре мой отчим умер. И хотя мы прожили много лет вместе, я редко вспоминаю о нем, будто это случайно встреченный на улице прохожий. Я совсем не узнал его за все годы, так он и остался в моей памяти каким-то молчаливым серым пятном. Наверное, это получилось из-за того, что я сам был ему совсем неинтересен и он всегда был со мною безразлично-ласков, как с соседской кошкой. Вежливый, спокойный, скромный, как пожилой театральный статист. Ведь никто не приходит в театр рассматривать нюансы игры статистов, а он был прирожденный статист, и, когда он сошел со сцены, похоже, что никто этого и не заметил.

Когда он умер, мне было восемнадцать лет, а матери тридцать девять, и она была еще очень красивой женщиной, и я был уверен, что она как-то будет устраивать свою жизнь. Мы часто ссорились с матерью, и она, сердясь и грустя, говорила мне: «Папочка! Вылитый папа!» А потом она вышла замуж за молодящегося полковника в отставке.

Полковник Хрулев оказался веселым, хорошим мужиком, и я был рад за мать, потому что с ним она чувствовала себя в жизни уверенно и твердо, а он действительно помолодел на двадцать лет, и они оба вроде устроили свою жизнь и были взаимно счастливы, радостны и удовлетворены. И оттого что они оба были уже немолоды и встретились после долгих жизненных мытарств, они как-то недоверчиво относились к прочности своего благополучия, неся его, как переполненную чашу, на вытянутых руках, всецело поглощенные охраной своей непрочно устроенной жизни, никогда не заглядывая в завтра и напрочь зачеркнув вчера, потому что время существовало для них только в форме сегодня. И если бы они могли, то наверняка оставили бы солнце на небосклоне, лишь бы оттянуть, задержать закат, после которого должно прийти совсем неизвестное завтра. В этой их погруженности в свои проблемы мне не было места, и я снова все чаще вспоминал отца, потому что у меня накопилось уже много вопросов, которые я не мог решить сам. И тогда отец стал защитником всех моих сумасбродных и странных поступков, потому что я поверил: будь он жив, мы бы смогли с ним о многом договориться, он бы многое понял, чего мать не принимает и не желает понимать. Он стал для меня пробным камнем, символом отрицания того, что делает и говорит мать.

Но оттого, что у него в моих воспоминаниях не было лица, объемности, из-за того, что я никогда не мог с ним поговорить, я начал постепенно с тоской думать, что, может быть, его не было совсем, моего отца, и никто не таскал меня на плечах, распевая «испугался мальчик Стас», и некому уверить, что «не боится мальчик Стас», и не с кем будет повязать разных Карабасов моей жизни.

Уже поступив в милицию, я пошел в университет и там в архиве разыскал его личное дело. И когда я перевернул обложку пожелтевшей, выцветшей папки, меня точно в сердце ударило – с первой страницы анкеты на меня смотрело мое лицо. Короткие жесткие волосы, сердитый взгляд, уши торчком. Тихонов Павел Михайлович, 1911 г. рождения. Конечно, это биологическая случайность – я мог быть похожим на мать или не походить ни на кого из родителей. Но в двадцать два года случайностей не бывает – мир предопределен и заранее рассчитан, как схема телевизора. Именно тогда я впервые подумал, что время едино и человек может возвращаться в свое вчера и заглядывать в завтра. Я хотел незаметно от секретаря вырвать из папки фотографию, а потом раздумал, сложил пожелтевшие корочки и ушел. Мне больше не нужна была фотография, потому что показывать ее было некому, а моя память навсегда перенесла ее в завтра.

Я не могу сказать, что любил отца. Наверное, это называется как-то по-другому, потому что люблю я, несмотря ни на что, мать. А с отцом все по-другому. Это какое-то эгоистическое чувство нашей с ним нераздельности. Когда я увидел его фотографию, у меня будто щелкнуло что-то в мозгу, открылся клапан и понеслись одна за другой картины былого или придуманного, где нам было три года и тридцать, он нес меня на плечах по Красной площади на демонстрации, а я подавал ему вторым номером патроны у пулемета, потом он стоял в хоккейной маске в воротах, и я бросал ему нижнюю «резаную» шайбу, и он стыдил меня из-за того, что я горько плакал, когда меня бросила Лена, или, может быть, это я утешал его, что мать вышла замуж за Хрулева, но все это кружилось в бешеном круговороте, и я не мог нас разделить – где он и где я, потому что мы встретились впервые, когда он уже погиб, и для этого я пришел из его завтра в свое вчера.

Тогда-то я понял, почему у нас с матерью такие неважные отношения. Я остро, болезненно ревновал ее к рыхлому, флегматичному преподавателю немецкого и полнокровному, веселому Хрулеву, которые должны были устраивать с ней жизнь после отца, а он был со мной неразделим, он был я, а они заняли наше место, и, значит, она их больше любит, чем меня-отца. И я люто, бессознательно ненавидел карточки на хлеб, вещи, очереди, человеческое одиночество, всю войну вообще, из-за которой у людей возникает необходимость устраивать жизнь, зачеркивать вчера и отворачиваться от своего завтра.

А мать я любил и ненавидел, как можно любить и ненавидеть самого счастливого из всех несчастных людей, потому что она не смогла в труднейший момент своей жизни проехать, пройти по второму измерению, чтобы свернулась лента времени, она не захотела и не сумела сделать вчера своим завтра, а только надеялась устроить свою и мою жизнь, не понимая, что жизнь нельзя устроить для себя: время едино и завтра – всегда часть твоего вчера, а вчера еще был жив отец, но она поверила, что он мертв, когда он еще мог быть жив, а жизнь нам таких вещей никогда не прощает. Годы шли, шли, шли, пока я понял, что моя любовь к матери и ревность – это половина памяти отца, а ненависть – бремя верности этой памяти, которое я хотел возложить на нее, а она не могла его снести, потому что была обыкновенной слабой женщиной, и я не вправе требовать от нее умения чувствовать единство времени, где память есть любовь, а завтра – только часть твоего вчера.

Я поднялся по лестнице на второй этаж большого дома, старого, очень удобного, какие строили в Москве в начале века. Мать открыла мне дверь, сказав:

– Я и не думала, что ты будешь так быстро.

Она подставила мне щеку для поцелуя, и я почему-то подумал, что мать никогда меня не целует – наверное, чтобы не испачкать помадой.

В прихожей стояла миловидная девушка в пальто – она, по-видимому, прощалась, когда я пришел.

Мать сказала: «Познакомьтесь, пожалуйста...» Началась ненавистная мне процедура знакомства. У меня есть мерзкая привычка не слушать, когда незнакомый человек называет свое имя, из-за чего уже через две минуты я попадаю в дурацкое положение: вместо того чтобы называть его по имени, приходится выдумывать всякие безличные обращения вроде «видите ли» или «понимаете ли». Кроме того, знакомясь с неинтересным тебе человеком, нужно непременно говорить массу пустых, ничего не обозначающих слов. «Очень рад». Почему это я очень рад?.. В общем, пробормотал я что-то там вежливенькое, да и девушка, видно, была разочарована несоответствием моей весьма заурядной внешности той легенде, которая была тщательно создана матерью. На том, слава богу, и расстались. Мать проводила ее и возвратилась, улыбаясь:

– Очень способна...

Я не удержался от ехидства:

– Наверное, уже выучила «Жаворонка»?

Мать взглянула на меня и весело засмеялась.

Ах, как я люблю смотреть на мать, когда она смеется! Исчезают морщинки, становится незаметной легкая желтизна кожи, а глаза, голубые, выпуклые, как озера весной, разливаются добром и весельем. Когда она смеется, глаза у нее загораются каким-то непостижимым светом, притягивающим к ней мужчин, как маяк в ночи. Я никогда не слышал, чтобы она хохотала, как это часто делают многие женщины. Она смеется совершенно беззвучно, и только радостно и сильно полыхают ее глаза, и мужчины начинают тихо сумасшеднуть, стараясь сделать что-то сверх своих возможностей, а поскольку это всегда довольно затруднительно, то обычно они становятся просто хвастливыми...

– Не понимаю, зачем ты с ними занимаешься.

Мать пожала плечами:

– Техника все больше машинизирует людей, им не хватает эстетического воспитания, понимания красоты искусства...

– При такой широте подхода надо это делать бесплатно, – предложил я.

– Но ведь мне и для себя необходимо создать видимость своей необходимости людям, – сказала она, и я не понял: шутит она или говорит всерьез. – Ты так погружен в эту проблему, что и я стала над ней задумываться всерьез. – И мать снова засмеялась.

Потом она посерьезнела:

– Стас, дорогой мой, мы с тобой стали совсем чужие. Ты так ужасно отдалился!

– Что делать, мама, – развел я руками, – у меня очень мало свободного времени...

– А, разве в этом дело! Я ведь совсем не знаю, как ты живешь, и меня это очень пугает. Я, наверное, стала уже старая и все время думаю о тебе и очень боюсь за тебя...

– Чего ты боишься? – искренне удивился я.

– Стас, я совсем ничего не знаю о тебе. Не знаю, с кем ты дружишь, с кем сталкиваешься по работе, что ты делал сегодня и год назад.

– Мама, мы с тобой уже говорили об этом. Мир, в котором я вращаюсь, тебе непонятен и неинтересен. И жизнь моя не меняется: и восемь лет назад, и сегодня я разбирался с одним и тем же вором по кличке Батон.

– Я говорю не о том! Вчера ко мне приходил Вадик Петриченко...

– Знаю, знаю! – перебил я. – Вадик – твой любимый ученик, мой ровесник и уже лауреат международного конкурса! Но я, мама, не хотел и не мог стать пианистом – у меня слуха нет. Хоть в этом-то я не виноват?

– Ты так гордишься отсутствием слуха, будто за это диплом выдают. Но ты напрасно меня перебил, я еще не такая бестолковая старуха, какой ты меня всегда представляешь. Вадик рассказал мне страшную вещь – ты помнишь Лю Шикуня?

Я кивнул:

– Пианист, ему хунвейбины камнями разбили руки.

– Так ты знаешь об этом?

– Я читаю газеты.

– И ты говоришь об этом так спокойно?!

– Мама, я не говорю об этом спокойно. Но что можно сделать? То, что происходит там, – как чума, как градобой.

– Но ведь это сделали люди, а не микробы и не град!

– Да. Но я-то что могу сделать? Я-то здесь при чем?

– Ах, Стас, ты не видел, какие у него были руки! Он маленький, худенький, а руки будто выточены из бамбука – тонкие, нервные, сильные. И по ним били камнями. Камнями! Ты понимаешь, как это страшно!

Мать замолчала, нервно раскуривая сигарету. Две недокурные дымились в пепельнице. Я аккуратно погасил их.

– Я почему об этом с тобой говорю, – сказала мать, судорожно вздохнув, – твоя жизнь уходит на то, чтобы ловить воров и хулиганов. Я боюсь за тебя, боюсь, что вся твоя жизнь уйдет ни на что. Ну ответь мне по-человечески, чтобы я поняла, если я действительно такой отсталый человек: почему именно ты должен ловить жуликов? Каждый творческий человек выбирает себе работу по призванию. Разве твое призвание – ловить жуликов? Разве вообще есть такое призвание?

Я сидел молча, раздумывая над ее словами. Как же мне ответить ей?

– Ну почему ты молчишь?

Да, действительно, разве бывает такое призвание? Так я и сидел молча, и рассматривал комнату матери – другой мир, в который мне не было доступа, потому что у меня с детства не было слуха, а главное – желания проникнуть в него. И интересовали меня совсем другие вещи, а мать была занята устраиванием жизни и воспитанием будущего лауреата Вадика Петриченко, который, по-моему, уже лет в семь точно знал свое призвание и был действительно хороший парень – вежливый, скромный, трудолюбивый и с абсолютным слухом. Так что я медленно и неуклонно открывал дверь в свой мир – задымленные милицейские дежурки, неистребимый запах пота и капусты в тюрьмах, тревожную сонливость засад, витиеватую матерщину задержанных хулиганов, всегда пугающий холод уже остывшего трупа...

Интересно было бы перевесить с этой стены в мой служебный кабинет портрет Стравинского. Нельзя. И нельзя перенести фотографию Рахманинова, и неуместен там маленький бюст Бетховена, бронзовые подсвечники, раздерганные пожелтевшие ноты. Нельзя. Я и сам был уверен, что наши миры разделены прочно, навсегда. А оказывается, что жизнь их связывает, как подземные реки.

«...Твоя жизнь уходит на то, чтобы ловить воров и хулиганов...» Но ведь где-то же хулиганов приучают разбивать камнями руки? Как же объяснить матери, что мое призвание не только в том, чтобы ловить жуликов, а и в том, чтобы не позволить хулигану раздробить пальцы лауреату Вадиду Петриченко? Ведь дело не в одном лауреате и не в одном хулигане. Господи, как же называется мое призвание?

– Мама, ничего я не могу тебе сказать. Тут словами ничего не скажешь, это надо чувствовать, как я это чувствую в себе...

– Все разумное, осмысленное можно сказать словами, – сказала мать.

– Ладно, мама, не будем больше говорить об этом. Здесь нам с тобой ничего не изменить.

Зазвонил телефон. Быстрым точным движением мать провела платочком по лицу, не размазав ни одного косметического штриха, достала из-под рояля трубку и сказала: «Аллёу». Через мгновение она с увлечением обсуждала со своей приятельницей новую прекрасную программу Михновского, чем-то возмущалась, огорчалась, радовалась, восхищалась чьими-то шведскими замшевыми сапогами.

Я достал из кармана портсигар и держал его наготове, чтобы сразу вклинить между отбоем и подробным пересказом всех деталей этого «волнительного» разговора.

– Ой, какая прелесть! Откуда у тебя такая вещица?

– Это вещественное доказательство. Посмотри, пожалуйста, что это за ноты на нижней крышке?

Мать, прищурясь, рассматривала нотные знаки необычного золотого клавира и длинным тонким пальцем отстукивала на полированной крышке стола ритм, а я мучительно старался не смотреть на этот тонкий нервный палец, потому что точно такие же сухие тонкие пальцы, совсем не мужские, трепетные и хрупкие, были у Вадика Петриченко, и, уж наверное, ничем, разве что цветом, не отличались они от рук Лю Шикуня, которого я никогда не видел.

– Это токката Панчо Велкова...

– Что-что? – переспросил я.

– Есть прелестный болгарский композитор, – начала подробно объяснять мать...

Глава 8

Школа справедливости вора Лехи Дедушкина

Не знаю уж почему, но злобы к Тихонову я не испытывал. Может быть, потому, что он глупый? Про него правильнее сказать, что он не глупый, а ограниченный. Во всем вроде нормальный парень, а на работе своей прямо звереет. Ну будь он тщеславным, хитрым чинушей, я бы мог понять: хочешь в начальники выскочить – давай паши людской навоз. Но по нему не видать, чтобы он сильно рвался к большим погонам, ему надо мне какие-то глупости доказывать. И главное – зачем? Никто его не просит так надрываться, и славы на мне он никакой не заработает, но вот завел я его однажды, и теперь он будет со мной биться, пока пар из него не пойдет.

Смотрел я на него долго и вдруг заметил, что у него ворот на рубашке протерт. Сорочка белая, поплиновая, чистенькая, много-много раз стиранная и в сгибе у шеи протерлась до тонкой ворсистой бахромки. И никак я не мог на него разозлиться, пока он из кожи вылезал, загоняя меня в тюрьму.

Не мог я сосредоточиться, чтобы по всем правилам дать ему оборотку, а может быть, и не в моих это было силах – отбиться от него, потому что он давно уже не щенок, а матерый, жесткошерстный разыскной пес. И все в его поступках и размышлениях было логично, смело и правильно, только одного он не мог сообразить, и касалось это не меня, а его самого – он очень хороший, отлично вышколенный пес, который сторожит забор без дома. За тем забором, вдоль которого он бежал за мной ровной, не знающей усталости рысью, настигал меня, прыгал мне на спину, валил на землю и волочил харей по грязи и дерьму прямо в тюрьму, он лично – не капитан милиции, не инспектор МУРа, а просто одинокий тридцатилетний парень с худым сердитым лицом по имени Стас Тихонов, – вот он лично ничего своего не оставил за этим забором, который он так истово охранял от моих преступных посягательств.

И подумал я об этом, глядя на протертый у сгиба воротничок сорочки. И от этой мысли я никак не мог сосредоточиться, потому что он мне вроде бы доверил свой большой секрет и обязывал держать его в тайне, а сам душил и рвал меня, пытаюсь вытащить у меня из глотки те слова, что он мог бы записать в протокол, дать мне расписаться и лишит меня за эти слова самого дорогого, что есть у человека, – жизни без конвоя. Дело в том, что мне казалось, будто

мы двое знаем о протертой на воротнике рубашке, ведь всем остальным до этого не было никакого дела, и никто с лупой не станет рассматривать его сорочки, и об этой протертости – унижительной печати бедности – знали только мы двое: он и я.

Он увидел свой старый, изношенный воротник сегодня утром, собираясь на работу, и мне казалось, что я стою в его комнате и вижу, как Тихонов, еще в майке, растягивает на руках сорочку и прикидывает: можно еще надеть эту рубаху? Достаточно ли незаметна намечающаяся дыра? Или выкинуть и надеть кобеднешнюю? Пожалуй, еще разок можно надеть эту, старенькую. Надевает и идет на работу, сюда, на Петровку, 38, чтобы решить вопрос всей моей жизни. И здесь протертый воротник увидел я, и он совсем вышиб меня к чертям из седла, потому что я с какой-то болью ощутил, в каком нелепом, перековерканном мире мы все живем.

Господи, да я б ему сто, или двести, или тысячу рубашек купил бы, только бы он выпустил меня отсюда! Заикнулся бы он только, я бы выплатил ему его зарплату за пять лет вперед! Я бы, наверное, не обратил внимания на его рубаху, будь она грязная, мятая или разорванная, но она была вытертая! Вытертая от многолетней аккуратной носки. И у этого человека в руках была вся моя жизнь! Господи, чушь какая!

Но Тихонову не нужна тысяча нейлоновых, банлоновых, орлоновых, льняных и хлопчатых полосатеньких пижонских рубашек «кент». И не нужна ему в один миг полученная от меня зарплата за пять лет вперед. Его вполне устраивает протертая на воротнике поплиновая, чисто выстиранная рубашечка, потому что только в ней он может носиться со своей ответственностью перед всеми людьми, будто бы уполномочившими его сторожить забор, по одну сторону которого поселились они со своими пожитками и жалким обывательским покоем, а по другую – я с моей никогда не утихающей жаждой жить легко и приятно.

Он ведь не стадный, он не осел, повторяющий послушно чужие, навязанные ему прописи, такие, как он, на все имеют свою точку зрения и умудряются первыми получить все самые поганые обязанности и последними выуживают из котла награды и призовых слонов. И все-таки ему нравится то, что он делает. Почему? Может быть, это жажда власти? Или славы? Или силы? Или возвращение долга за жалкое и нищее детство? Или он считает, что вершит справедливость? Но этого не может быть – он же не блаженный идиотик? Нельзя же быть умным взрослым человеком и верить в какую-то общую и добрую справедливость!

Для меня вера в справедливость скончалась, когда мне было десять лет. Это словечко было в большом ходу в нашей проклятой семейке. Почесывая длинное родимое пятно на щеке – «мышку», дед говорил: «Бог забыл нас, умерла справедливость, и погрязли мы в скверне...» Полагаю, что второго такого разбойника на ростовских хлебных ссыпках, как родненький мой дедуля, было не сыскать. Мать смотрела на меня с ненавистью, и красные мятые пятна проступали на ее пористой коже: «По справедливости говоря, лучше было бы мне сделать аборт, чем вырастить такое чудовище...»

Но больше всего любил это словечко папа. Вечерами он приходил с работы, стягивал сатиновые синие нарукавники, отряхивал с туалъденоровой толстовки невидимые крошки, садился к столу и долго, зябко умывал одну ладонку о другую; он всегда судорожно тер ладони, будто ни вода, ни мыло не могли отмыть налипшую на них за день грязь, и он все тер и тер их, даже во время еды – отложит на минуту ложку, потрет синие, влажные, всегда очень холодные ладони и снова принимается за суп, отвратный, воняющий кислятиной и прелыми овощами.

Почему-то у нас дома всегда мерзко ели, и не потому даже, что каждая выдача денег на жратву сопровождалась кошмарной свалкой и «битвой с саблями наголо», и в этой бойне рвался вверх дедов визгливый фальцет: «Жулье, моты проклятые, сколько можно несчастного старика доить!», а отец испуганно тряс башкой, он весь сгибался на одну сторону от унижения и страха, но держался несокрушимо: «Я честный служащий и денег не кую!», а мать, шваркнув в деда кастрюлей с остатками вчерашнего супа, потом с удовольствием, с мясницким «хэк», с оттяжкой охаживала отца по тощим лопаткам скалкой и, походя дав мне по рылу, говорила

душевно, почти ласково: «Сгорите вы все в огне! Подавитесь вы все трое! Воши проклятые, нет на вас санпропускника тифозного! Чтоб вас уж скорее на простынях отсюда вынесли! Чтоб вам ваши рты поганые забросало гнилыми нарывами, тогда бы вы жрать не хотели и никаких денег было бы не надо!»

И готовила мать с отвращением, просто с ненавистью, поэтому она начинала варить борщ, забывала о нем, борщ выкипал, пригорал, и в обед она тычком совала на стол грязную, закопченную кастрюлю, мрачно объявив: «Жрите. Овощное рагу». До сих пор я никогда не ем компота, потому что дед однажды достал где-то мешок порченных сухофруктов и каждый день мы ели на третье компот из заплесневелого чернослива и гнилых грушек, невыносимо кислый, и в каждой ложке плавала парочка белых фруктовых червяков. Дед вышвыривал их ловким щелчком желтого железного ногтя, подмигивал мне: «Давай, давай, с мясным наваром сытнее». Однажды меня затошнило, и мать мне сразу помогла, дав такую оплеуху, что я скovyрнулся с табуретки, и тошнота сразу прошла, и все сразу условились, что компот нам нравится.

Так вот, вспомнил я, как отец, дожрав хлебово, которое ему мать совала на всегда замусоренный, изгаженный, липкий стол, вытирал о подол толстовки свои вечно зябнущие ладошки, садился у подоконника и начинал вершить справедливость.

Он творил ее вдохновенно, как, наверное, писатели придумывают свои книги. Он брал мою старую, не дописанную до конца тетрадь, аккуратно разглаживал ее на подоконнике и, почесывая тупым концом карандаша в ухе, задумывался. Видимо, он сочинял сюжет. Потом он делал в тетради какие-то пометки – надо полагать, это были эскизы к образам. Сидел он подолгу, не спеша все обдумывал, иногда коротко негромко всхохатывал – наверное, ему нравилась какая-то отдельная мысль или поворот событий. Потом заискивающе спрашивал меня: «Ленчик, ты уже все уроки сделал?» Так он называл меня только в тех случаях, когда сотворял справедливость. А во всех остальных случаях он меня просто никак не называл, а обходился протяжным и выразительным обращением – «ты!». И это «ты» он говорил длинно, вытягивая и округляя губы, и получалось какое-то странное слово: «Д-ды-ы!»

А поскольку я был двоечник, то уроки у меня всегда были сделаны. Он сажал меня рядом с собой у подоконника, открывал чистый лист в тетради и начинал мне диктовать, а я писал. Я писал ему доносы. Доносы были на всех. На соседей, на сослуживцев, просто на каких-то малознакомых людей. Я спрашивал его: «А зачем?» А он говорил мне добро и задумчиво: «Так надо. Справедливость во всем нужна». Писал он о том, что домоуправ злоупотребляет и соседи живут не по средствам, инвалид Жинкин – симулянт, начальник треста Волобуев берет взятки, партиец Коновалов разлагается в быту с лаборанткой Косенковой, продавщица Лапина ворует и на каждый день носит фильдеперсовые чулки – с зарплаты так не пофорсишь. У Семенкиных что ни день, то пьянка, а главный инженер Фомичев, беспартийный, из бывших буржуазных спецов, шагая со знаменем в колонне на демонстрации, антинародно улыбался и при этом думал: «Надо же – как бараны тащимся, а я вовсе как дурак с этой тряпкой вылез...»

Я спросил его: «А ты откуда знаешь, что думал Фомичев на демонстрации?» Отец дал мне подзатыльник, не больно, а так, чтобы поставить на место и чтобы вопросов глупых не задавал: «Раз сигнализирую, значит известно мне это...» Потом подумал и сказал: «Пожалуй, зачеркни лучше „думал“. Напиши так: „Все время бормотал себе под нос“». Доносы он подписывал загадочно и внушительно: «Группа честных доброжелателей».

Мать, проходя мимо, недовольно бурчала: «Вот скорпион проклятый на мою голову навязался. Чем за правду бороться, сходил бы за картошкой лучше». И самое главное, что я долго верил, будто отец действительно воюет за справедливость, и только очень сильно удивлялся, почему он, зная за этими людьми столько плохого, бежит с протянутой рукой через весь двор навстречу домоуправу, пьет с инвалидом Жинкиным водку, спрашивает у партийца Коновалова о здоровье драгоценнейшей супруги, продавщице Лапиной достает модельные «лодочки», а Сашке Семенкину продал стопу пластинок с песнями Лещенко и Вертинского.

Быстро времечко бежало под теплым родительским кровом, и очень скоро представился случай все понять.

За какие-то там стахановские рекорды наградило правительство директора треста Волобуева собственной машиной – «эмкой», и держал он ее во дворе под своими окнами. Однажды в воскресенье собрался он куда-то ехать – глядь, а заднее колесо спустило. Ну конечно, не то чтобы оно само постояло и спустило, а это я ему вывинтил ниппель на пружиночке – очень смешно воздух выходит, когда на железный штырек нажимаешь: «пье-есь-сь-ть!» Задумчиво походил пузатый директор вокруг машины, а тут, естественно, папаня наш тут как тут. Вот, наверное, Тихонов бы повеселился, кабы узнал, что он еще в штаны писался, когда я получил первое предупреждение от высшей справедливости – папашиними руками, конечно.

Папка дорогой мой говорит Волобуеву: «Почтеннейший Ван Саныч, давайте подсоблю, насос вам маленько покачаю». С того уже водичка соленая течет, он и рад помощи. Смотрел я, смотрел, как отец директору шину качает, стало мне за папаню обидно, подошел я и говорю: «Плюнь ты на него, не качай ему шины. Ты же знаешь, что он взяточник, его не сегодня завтра НКВД к себе заберет».

Н-да, сценочка была – загляденье. Отец медленно разгибался, вытягивая постепенно вверх ручку насоса, и казалось, будто он одним ходом штока высосал из себя весь воздух, я ведь даже не знал до этого, что из человека можно выпустить воздух не хуже, чем из шины, и даже на штырек ниппеля нажимать не надо. И синюшное его, сморщенное личико с длинным прямым носом все запало и усохло, а глаза от страха сощурились. А Волобуев побледнел. Сначала он даже не понял, что я выкрикнул, а потом до него это медленно дошло, и он побледнел. Надо было хоть раз видеть Волобуева, чтобы понять, какое это невероятное, небывалое явление – бледный Волобуев. Он был здорово похож на урожай, который обычно рисуют на плакатах, – огромный пузатый пшеничный сноп с кирпично-красным лицом и пышными усами из колосьев.

Побледнел он, обхватил меня за спину огромной ручищей и подвинул к себе легко и быстро, как фунтик с прилавка снял, и я чувствовал, что его теплая ладонь обхватывает сразу половину моей спины.

– Ты что сказал, пацан? – спросил он. – А ну повтори!

Сказал он это не с угрозой и не зло, а так, будто я что-то ужасно всем интересное поведал, а он на минутку отвлекся и вот, черт возьми, прослушал. И от этой бледности и спокойной уверенности его я как-то сник и почему-то засомневался в том, что он очень плохой человек, которому, как я писал под диктовку отца, «давно пора отрубить карающим мечом правосудия загребушие лапы хапуги». Я не очень хорошо понимал, что такое взятки, я только помнил, что их зачем-то дают и берут и что это ужасно плохо и стыдно. И может быть, поэтому мне стало жалко, чтобы такие огромные и теплые лапы отрубили. Я сказал тише и уже без прежнего пламенного жара:

– Вы, дядя Волобуев, взяточник и хапуга. И вам надо карающим мечом...

Я не успел закончить, захлебнувшись кровью и зубами. Ручкой от насоса отец брякнул меня изо всех сил по лицу, и все вокруг подпрыгнуло, и закружился проклятый продажный мир наш, загаженный и заплеванный, в сверкающем никелированном колпаке на колесе дареной директорской «эмки»...

Таким образом я получил первый урок: за справедливость не надо бороться – она тебя сама найдет. И урок этот запомнил крепко, потому что еще много лет, пока я не получил среди блатных кличку Батон, прозывали меня все Щербатым. Иногда я задумываюсь над тем, что даже в случаях, когда за-ради справедливости люди и не хотели мне зла, все равно она выходила мне боком. Ведь если бы тогда Волобуев, узнавший от меня случайно, кто донимает его анонимками, приволок моего родного папульку в суд и там ему припаяли бы годика два за клевету, то, может быть, и в моей жизни все повернулось бы по-другому. А может быть, и не

изменилось бы ничего, и на те же круги я выкатился бы все равно, но только Волобуев решил это все как-то неожиданно: жалко ему стало меня сиротить, сам он из беспризорных, горький хлеб безотцовщины еще на губах, так он и оставил эту историю без последствий. Выгнал только отца из своего треста.

Эх, кабы в десять лет можно было бы понимать ясно и четко то, что и к сорока не совсем еще прояснилось! Уйти бы мне тогда из дому и податься в детдом, или в ремесленное, или в ФЗО, и стал бы я с годами летчиком, или фрезеровщиком, или шофером – безразлично кем, но возникла бы у меня с детства потребность жить правильно и не было бы во мне отравы – необходимости жить приятно и легко, и не сидел бы я сейчас в пустой камере.

Но в десять лет нельзя себе выбирать дороги и жить с семьей кажется единственно возможным. Даже если в обычных сваргах из-за денег появляется новая тема: отвечая на вопли матери, отец колотил меня ложкой по затылку и гугниво сипел: «Вот у него, у него, у байстриюка своего, проси денег на жизнь. Он с нами за все доброе расплатился!» А мать отвечала: «Сам хорош, прыщ в подмышке! Кто тебя просил за правду бороться? У них разве найдешь справедливость!» А дед благодушно журил зятя: «Дурак был и помрешь дураком. Разве серьезное дело можно мальцу поручать? А пасть ты ему не зря наломал – пусть навек запомнит: что бы дома ни было, оно все, и хорошее и плохое, – наше. Они нам чужие, и нечего им про нас знать».

Может быть, и забылось бы все это, тем более что вскоре Волобуев получил новую квартиру и уехал из нашего дома на своей дареной «эмке», а отец устроился кладовщиком в артель инвалидов. Но тут пришла первая в моей жизни настоящая беда.

Из дому пропали колье и аграф.

Не знаю, сколько они тогда стоили, но в доме колье и аграф были вещами символическими. Они остались от той – от ТОЙ! – жизни, и каждая буква в этом коротком словечке произносилась у нас в доме как заглавная. ТА жизнь, к которой я, к несчастью, не поспел, видимо, была жизнью удивительной, и когда говорили про ТУ жизнь – а говорили о ней с какой-то извращенной страстью каждый день, – то говорили с тяжелыми вздохами, мать часто со слезами, а дед мрачно сплевывал и сквозь зубы матерился.

Все в ТОЙ жизни было замечательно – полно всякой дешевой жратвы, никаких тебе карточек и спецжиров, мать шила свои шмотки на Кузнецком мосту у дорогих «костюмьеров» – она почему-то всегда говорила «костюмеры», у деда была оптовая хлебная торговля и несколько магазинов, и даже люди в то время были совсем другие – деликатные, воспитанные, приличные. Вот насчет людей я верил с трудом, глядя на своих дорогих папашу и мамашу. Мать, когда папаша к ней сватался, была его на пять лет старше, да и видом своим больше на циркового борца смахивала, чем на лилейную барышню. Но отец верил в справедливость и был убежден, что дед тоже поступит справедливо, коли переведет его из младших конторщиков в управляющие – за то, что сумел он разглядеть тонкую душу его дочери и поступил к нему в зятя. Не знаю уж, какие на этот счет у деда планы были, только диктатура пролетариата внесла свои поправки в личную жизнь всей моей дорогой семейки. Экономическая передышка кончилась, командные высоты индустрии остались в руках бывших эксплуатируемых, а ныне хозяев своей судьбы, а заодно и своей страны, и весь этот распрекрасный нэп прикрыли к едрене фене, как засвеченную малину. Реквизиции, экспроприации, конфискации, обложения, самообложения – всего и не упомнишь, хотя мне и помнить нечего, я тогда еще на свет не родился, но, во всяком случае, в нашей семейке с эксплуататорскими способами существования было покончено. Деда забрали в ГПУ и попросили поделиться с народом накопленными им нетрудовым путем ценностями. Следователь объяснил, что в стране идет грандиозное, доселе в мире неслыханное строительство и для этих целей нужно много желтого металла, хотя они могут принять также драгоценности и иностранную валюту. Дед мрачно сказал ему: «Когда нет денег, то не строят...», но ценности сдал. Его тотчас же отпустили, и стала моя семейка вносить посильный вклад в дело строительства социализма.

А справедливость тут как тут. Чтобы как-то утешить огорченную столь серьезными потерями семейку, на свет родился я. Судя по тому, что вылетел в этот распрекрасный мир я только с пятой попытки – четверо моих старших братьев родились мертвыми, – я был в семейке долгожданным ребенком. Но, вспоминая теперь, что вытворяли со мной мои бесценные родители, я часто задумываюсь: чего это они так старались делать детей? От любопытства, что ли? А когда у меня бывает совсем плохое настроение, то я жалею, что среди братьев Дедушкиных я не был вторым или четвертым.

Во всяком случае, сколько я себя помню, столько в нашем доме было разговоров про колье и аграф. Это все, что осталось у них от ТОЙ жизни, и мать относилась к этим дурацким бусам и брошке прямо с религиозным восторгом. «Такую вещь сейчас не найти», – говорила она дрожащим от удовольствия голосом, прикладывая колье к могучей красной шее с несколькими поперечными складками. Гранатовая штукovina, как мне сейчас представляется, была не больно-то дорогая и довольно безвкусная. Ну да это не имеет значения: нравилась – значит нравилась.

И вот колье и аграф пропали. Обнаружилось это вечером, когда отец уже отужинал и томился бездельем, потому что писать доносы после истории с Волобуевым он пока опасался, а телевизоров тогда еще не придумали. Мать открыла жестяную банку из-под индийского чая, в которой она хранила свое сокровище и облигации, и, не находя побрякушек, начала быстро шарить в коробке рукой, и выглядело это точно так, как кошка скребет лапой по песку. Потом она подняла на нас потемневшее от прилива крови лицо, и две тяжелые складки набежали у нее около переносицы. Она сказала негромко и зловеще:

– Колье...

И переводила свой тяжелый взгляд с деда на отца, с отца на меня, с меня на деда и снова на меня. И я понял, что пропал. Видимо, у меня уже тогда были плохие нервы, и я очень испугался, даже не знаю, чего я испугался, может быть, от предчувствия сердчишко екнуло, но только я от этой пугающей тишины, от этой духоты взаимной ненависти заплакал. Я и сам это не сразу заметил, но когда отец сипло спросил: «Значит, кошка знает, чье мясо съела?», я почувствовал, что у меня по щекам текут горячие быстрые струйки и сильно трясется подбородок. Хотел я закричать во весь голос, что не виноват, что не брал я никакого колье, но голос пропал, и все происходящее стало разворачиваться в стремительный бессвязный кошмар, который до сих пор мучает меня в тишине и одиночестве.

Мать била меня с маху по щекам, и моя башка моталась, будто привязанная на веревочке, и пьяненький грустный дед подскакивал на своем стуле, редко лупая красноватыми веками, а отец с ремнем в руках нетерпеливо сучил ногами, будто в уборную торопился, и когда я получал удар слева, справа на меня бросался наш торгсиновский буфет, и мчался он на меня с грохотом и треском, как поезд по мосту, и то ли буфетная створка, то ли ласковая мамочкина рука врезала мне по правому уху оглушительно и страшно, а уже слева наезжал на меня черный клеенчатый диван, и предшествовала ему громадная, во всю диванную спинку, ладонь, и эта ладонь-диван вмазывала мне по левой скуле, и плыли вокруг меня, как в китайском цирковом аттракционе, звенящие, переливчатые радужные круги, которые время от времени сталкивались, и тогда во все стороны летели ослепительные сине-зеленые искры.

И все они кричали без остановки: «Куда ты дел колье, распроклятый, негодяйский мерзавец, отвратительный выродок?! Вор! Вор! Вор! Вор!...» Их охватило истерическое неистовство, свойственное плохим людям, когда случится им встретиться с гадким поступком, который они и сами с охотой бы совершили, но вот почему-то замешкались, не успели, и какой-то шустрик их сумел опередить, и тогда досада от упущенной возможности кажется им самым праведным гневом незаслуженно обиженных людей.

«В нашем доме вор!» – голосили они. «Это подумать надо: в нашей семье – вор!» И они так напирали на это обстоятельство – «в нашей семье», что сторонний человек мог подумать, будто вор объявился в семье князя Трубецкого.

Но традиции воспитания в хорошей семье требовали не только кары, необходим был еще и момент раскаяния. Поэтому отец выволок меня на кухню, где собрались досужие соседи, сочувствующие, возмущенные и равнодушные, и, сдрючив с меня брючишки, стал пороть ремнем, чтобы впредь воровать неповадно было. Господи, я ведь уже большой мальчишка был – десять лет, и с меня при всех стащили штаны и лупцевали по голой костлявой заднице. И боли я уже никакой не чувствовал, а только мечтал, чтобы устал он или чтобы у него рука отсохла, только бы отпустили и дали натянуть штаны.

Не знаю, сколько бы это продолжалось, но на крики мои явился Сашка Семенкин – здоровенный парень, формовщик с завода «Станколит», наш сосед. Он швырнул отца в угол, как куль с тряпьем, взял меня на руки, прикрыл полой пиджака и сказал сердито: «Вы, иуды, ишь расходились! Я вас всех правов родительских лишу. С ума посходили? Время-то не старое...»

Исполосованная задница зажила, и ничего дома не менялось. Только дед стал часто пьяненький приходить, и мать грызлась с ним до синевы. Однажды я вел его домой из пивной совсем пьяного, раскачивало его во все стороны, и он каждый раз наваливался на меня всем телом, и я уговаривал его еще немного удержаться, не падать, потому что двор наш уже почти рядом. А дед тыкал мне в щеку мокрыми холодными усами, дышал на меня портвейном, пивом и воблой, ласково приговаривал:

– Эх, дурак ты, Леха, всю жизнь в дураках будешь. Тебе за камня гранатовые порка была, а мне на них удовольствие от захмеления. Потому как я умный, а ты дурак.

Я сказал:

– Сейчас брошу тебя и пойду матери расскажу.

А он засмеялся:

– Так она тебе и поверит! Да и поверит если, ты ведь уже оплеухи со щек не скинешь. А когда правого за чужую вину выпороли, то от сраму и неправого простят.

– Гад ты, дедушка, – сказал я.

И вот тогда, именно тогда я почувствовал себя вором, еще ничего и не тронув у людей, потому что человек становится вором не тогда, когда украдет, а когда ему при всех сказали «вор!», за воровство при всех покарали и, расходясь, припечатали: «Поделом вору и мука!»

Глава 9

Перспективы инспектора Станислава Тихонова

В это утро наконец вышел на службу Шарапов. Я шел по нашим длинным унылым коридорам и думал, что с пятницы собираюсь позвонить ему и никак не выберусь – забываю. А около его кабинета вдруг уловил за дверью запах кофе. Без стука толкнул дверь и увидел его за столом – Шарапов наливал в хрустальный фужер кипяток, и кофейный аромат поднимался горькими нежными клубами.

Этот дурацкий фужер с отбитым краем я помню столько лет, сколько знаю Шарапова. Когда-то давно, в те поры, когда у нас еще не было растворимого кофе, он варил натуральный на электрической плитке в маленьком кофейничке. Из-за этой плитки постоянно скандалили комендант и пожарник, которые в своих письменных и устных рапортах называли ее только «пожароопасным электронагревательным прибором». Спор решил начальник МУРа. Раскрываемость преступлений в отделе Шарапова, видимо, волновала его больше, чем возможность небольшого пожара. А поскольку и то и другое было, очевидно, связано с плиткой, то он сказал, чтобы Шарапова оставили в покое.

А теперь вот уже много лет пил Шарапов растворимый кофе, потому что натуральный кофе пить уже было совсем нельзя – здоровье не позволяло. Так плитка с кофейником, ставшим просто кипятивником, превратилась в маленькую достопримечательность, лишенную содержания традиционную форму, как пирамида, из-под которой уже давно выкрали фараона. Но Шарапов с каменным спокойствием пирамиды хранил от посторонних свою тайну, отшучивался, говоря, что растворимый кофе – его уступка прогрессу, и только я догадывался, как болезненно-нервно он боится за свою былую репутацию «железного» Шарапова, выпивающего за ночь дюжину фужеров кофе – «чтоб спокойно работалось...»

Он дождался, пока в фужере поднялась желто-коричневатая пена, и сказал:

– Ну, здорово...

– Здравствуй, Владимир Иванович. Я третий день тебе собираюсь позвонить.

Шарапов глянул на меня голубыми узкими глазами, усмехнулся:

– Но-о? Третий день?.. Ладно. Допустим. Кофе попьешь?

Я кивнул. Он достал из стола белую эмалированную кружечку и стал насыпать в нее из банки кофе. Окна кабинета выходили на Петровку, к саду «Эрмитаж», и комната была залита ярким утренним солнцем. И оттого что было очень светло, я вдруг увидел, что Шарапов больше не белобрысый блондин, а седой. Волосы у него были не мочально-белые, а тускло-серебристые. Лицо ватное – припухлое, белое, и я почему-то подумал, что Шарапова, наверное, и в молодости не любили женщины. Интересно знать, как он до женитьбы ухаживал за своей Варварой? Думаю, что никак не ухаживал. В немногие свободные вечера ходил с ней в кино «Колизей», молча приносил свиную тушенку из пайка и, отдавая, говорил своим невыразительным тихим голосом: «Возьми, мне и так много дают...», хотя пайка не хватало даже на житье впроголодь. Потом, наверное, сказал однажды, что ему дали комнату и им надо бы зарегистрироваться. Пошли и записались – тогда ведь не надо было ждать три месяца очереди во Дворец бракосочетания. Скорее всего, именно так все и происходило. А может быть, и нет, кто его знает...

Шарапов, увлеченный приготовлением кофе, метнул в меня быстрый взгляд:

– Я вижу, не порадовал тебя мой видок-то.

Я пожал плечами:

– Ты же с бюллетеня, а не с курорта.

Он сказал задумчиво:

– У человека есть порожек, до которого его спрашивают люди: «Вы почему сегодня так плохо выглядите?» После, как перевалил, вроде радуются: «А сегодня вы замечательно выглядите!» Закон – чего необходимо, а чего – достаточно.

– Тебе сколько лет, Владимир Иванович?

– Пятьдесят два. Это еще не много. – Он был почти весел. – В таких случаях еще пишут: «... в расцвете творческих сил...» – Не давая мне сказать, Шарапов продолжил, как будто отвечая моим мыслям: – Я шучу, конечно. Дело не в годах, не в том, что их осталось мало. Дело в том, что они – которые остались – для меня стали слишком быстрые, короткие слишком...

Он прихлебнул коричневую дымящуюся жидкость и, отвернувшись от меня, стал смотреть в окно. А за ним бушевала весна, которую жизнь, будто сумасшедший режиссер, почему-то решила сделать декорацией к его осени. По-прежнему глядя в окно, он сказал:

– Я во время болезни прочитал записки Филиппа Блайберга. Это тот мужик, которому пересадили сердце...

– И что?

– Меня там одно удивило – я это будто своими глазами увидел: он пишет, что согласился на операцию потому, что знал: его сердце до конца изношено. Вместе со всей этой... сердечной сумкой. Да-а. Вот я тоже попытался представить, как мое сердце выглядит...

Не знаю почему, но помимо своей воли я сразу же увидел сердце Шарапова – большую красно-синюю дряблую мышцу, разъеденную, как коростой, кофе и никотином, изношенную бесчисленными жизненными заботами, радостями, горестями, ужасно тяжелой ношей, – как изнашивают хозяйственную сумку, складывая в нее постоянно и без малейших раздумий грузы и грузики ежедневной жизни. Складывают, носят и выкладывают. Но из сердечной сумки ничего не выкладывают. В нее только складывают и носят. Складывают и носят в себе до тех пор, пока один из сосудов, через которые сейчас еще с шумом, неровными толчками бьет кровь, вдруг не лопнет. Как в сумке авоське неожиданно лопається ниточка-перекладина, и вся поклажа, вся ноша летит на асфальт, в жидкую, растоптанную ногами грязь...

Все это промелькнуло у меня перед глазами, но я ведь недаром имел восемь лет начальником Шарапова. Я был у него способным учеником. Поэтому я и бровью не повел. Дело было серьезное, и играть теперь надо по его правилам.

– Да-а, дела-а, – сказал я, копируя шараповскую манеру. – У нас с тобой, Владимир Иванович, серьезно. Вот один вопрос только имеется: ты бы на пересадку сердца согласился?

Еще мгновение он смотрел в окно, потом повернулся ко мне и засмеялся:

– Ты змей, Стас. Нет, я бы не согласился.

– А почему?

– Не знаю. Я это понимаю, только объяснить мне трудно. Я ведь плохо говорю...

– Мрачных разговоров достаточно! Впрочем, насколько я тебя знаю, ты со мной неспроста завел эти погребальные разговоры. Чего-то ты от меня хочешь.

Он встал, не спеша прошелся по кабинету, будто раздумывая – говорить дальше или не надо. Потом подошел к сейфу, отпер его, достал из нижнего ящика с отдельным замком толстую тетрадь в ледериновой серой обложке, сел за стол, аккуратно положил тетрадь перед собой, водрузив на нее свои огромные кулаки.

– Да, – сказал он. – Мне кое-что нужно от тебя. Вот в этой тетрадке досье по одному давнему делу. Когда будешь постарше – поймешь, что для каждого человека высшая судебная инстанция – суд его совести... Я, Стас, ошибся тогда. И если я... уйду – закончи его вместо меня. Потому что ошибки надо исправлять. А чем ты сейчас занимаешься?

Я рассказал ему про Батона, сказал, что завтра кончается срок задержания, что мы ждем сообщения из Унген. Шарапов хорошо знал Батона, и мой рассказ его развеселил:

– Да-а. Батон – это тебе не роза, которую мечтаешь приколоть на грудь. На прошлом суде его же защитник Окунь так и выразился.

– Работенки он нам подкинул по горло.

– Пора привыкнуть, – сказал Шарапов. – У нас ведь как у дворников: сколько снега выпадет, столько и убирать.

Отправляясь на свидание к незнакомому человеку, я стараюсь обычно угадать заранее его внешность. Иногда это мне удается, и тогда я радуюсь необыкновенно, пытаюсь объяснить удачу наличием в себе парапсихологических свойств. Но поскольку никакой системы угадывания вывести мне не удалось, то при каждой следующей ошибке я уныло соглашаюсь с тем, что за меня просто сыграл случай. Это же подтвердила Людмила Михайловна Рознина, которую я представил себе после телефонного разговора серенькой канцелярской мышкой, покрытой пылью времени, которое архивисты консервируют в толстых папках на бесконечных стеллажах и в сейфах.

Людмила Михайловна обещала разобраться с крестом и дать справку, кому он принадлежал. Я приехал в архив около двенадцати и снова убедился, что по части парапсихологии у меня сильные перебои: серая мышка оказалась очень элегантной и смешливой девушкой, и, конечно, называть ее Людмилой Михайловной было просто необходимой уступкой служебному этикету – она была просто Люда, Людочка, а еще лучше – Мила.

Она спросила серьезно:

– Товарищ Тихонов, а вы действительно настоящий сыщик?

– А как же! Вот мое удостоверение и запрос к вам насчет ордена.

– Да нет, я не об этом, – сказала она разочарованно.

– А-а! – протянул я. – Понятно. Но я еще не волшебник, я только учусь. Кроме того, могу сообщить, что хоккеист Боря Майоров стрижется всегда у одного и того же парикмахера...

Люда-Людочка-Мила недоуменно пожала плечами:

– Он что, франт?

– Не-ет, ни в коей мере. Просто парикмахер равнодушен к этой мужественной игре, и поэтому он единственный из всех людей, кто не разговаривает с Майоровым о хоккее.

Она усмехнулась и невинно спросила:

– Но Майоров среди хоккеистов самый знаменитый. А вы?

– Среди хоккеистов – пожалуй...

– Нет, среди сыщиков?.. – спокойно добила она мяч в ворота.

– Пожалуй, вряд ли, – ответил я и добавил: – А если подумать, то наверняка не самый...

– А хочется?

– Быть «самым»?

– Ну да. Самым знаменитым сыщиком...

– Хочется, – кивнул я покорно. – Вот вы мне поможете, и, может быть, стану. Тогда мое тщеславие будет удовлетворено вдвойне.

– Почему вдвойне?

– Потому что я стану первым живым знаменитым сыщиком. Дело в том, что живых знаменитых сыщиков не бывает. Я вот, например, не слышал.

– Да-а? – недоверчиво протянула Люда-Людочка-Мила.

– Да, – подтвердил я сокрушенно. – Вы слышали про знаменитых убийц: извозчика Комарова и Ионесеяна по кличке Мосгаз?

– Слышала.

– И многие про них слышали. Но ведь редко кому приходит в голову, что они стали знаменитыми после того, как их выследили и поймали совсем не знаменитые сыщики. Про Ионесеяна вы слышали много, в газетах даже читали, а о том, что его поймал, вместе с другими конечно, совсем неизвестный вам подполковник Шарاپов, вы и понятия не имели. Точно?

– Но ведь это, наверное, несправедливо? – сказала девушка с досадой.

– Нет. – Я перестал дурачиться и засмеялся. – Все справедливо. Люди должны знать актеров и спортсменов – и это правильно. А если бы сыщика прохожие стали узнавать на улице, как кинозвезду, толку от него стало бы как от козла молока. У нас работа такая, что чем меньше людей знает нас в лицо, тем лучше.

– Ладно, не набивайте цену, а то мне становится обидно, потому что вы-то сумели найти себе оправдание, а мне и придумать нечего. Я-то как раз хотела бы, чтобы меня узнавали на улице, но ведь знаменитых архивистов тем более не бывает.

– Ха! – сказал я весело. – Зачем вам слава? Слава – тлен! По-настоящему узнал меру счастья только тот лебедь, который вырос из гадкого утенка.

Она грустно пожала плечами:

– Но ведь бывают гадкие утята без перспективы. Не вырастет прекрасный белый лебедь – вырастет обычная простая утка.

Я тихо засмеялся, потому что у меня стало очень радостно на душе. Она еще просто не понимала, что ее грусть – это томление весны, избыток молодости и сил.

– Вы ехидный человек. И если бы вы не пришли с официальным запросом, я бы не дала вам справку.

– А что... уже? – спросил я с надеждой.

Люда-Людочка-Мила важно кивнула и достала из стола напечатанную на бланке справку.

– Вот это темпы! – восхищенно пробормотал я, жадно впиваясь в текст. Мгновенно прочитал и вновь повторил концовку: «...Его превосходительство генерал-майора кавалерии барона Николая Августовича фон Дитца, командира 307-й Тернопольской дивизии орденом Святого благоверного князя Александра Невского со звездой и мечами 13 октября 1916 года от Р.Х.».

– Значит, Людмила Михайловна, другом Батона был его превосходительство генерал-майор кавалерии барон Дитц?

Она искоса взглянула на меня и сказала:

– Я не знаю, о каком Батоне вы говорите, но этот барон уже много лет ничьим другом быть не может. В тысяча девятьсот сорок шестом году генерала Дитца, сподвижника атамана Семенова, по приговору Военной коллегии Верховного суда повесили...

– Какого Семенова? – не сообразил я сразу.

Она осуждающе покачала головой:

– Ай-яй-яй! Стыдно не помнить. Атаман Семенов, белогвардейский генерал, в конце Гражданской войны отступил в Маньчжурию, где и чинил всякие антисоветские козни, пока его в тысяча девятьсот сорок пятом году после разгрома Японии не взяли в плен. Потом судили и вместе с четырьмя другими главарями повесили. Вот и все, что я знаю.

– А что есть еще про Дитца?

– Ничего. Я уже посмотрела. Вам надо поинтересоваться в архиве Верховного суда. Я не помогла вам стать самым знаменитым?

Эх, Люда-Людочка-Мила! Я вдруг подумал, что хорошо было бы жениться на ней. Она красивая, веселая и хочет вырасти лебедем. И может быть, ее бы не так угнетало бремя альтруистской тирании. Но я наверняка опоздал к ней на свидание. На несколько лет. В пять часов она торопливо накинёт свое светлое демисезонное пальто, которое пока еще терпеливо висит в углу на гвоздике, прогремит легкой дробью каблучков по бетонным лестницам, выбежит на Пироговскую улицу, жадно вдохнет студёный вечерний воздух апреля, сядет на пятнадцатый троллейбус и в сутолоке часов пик будет мчаться по бульварам к центру, не замечая толкотни и препирательств пассажиров, и через запотевшее стекло, как сквозь волшебную линзу, будет разглядывать людей на тротуарах, раздумывая о далеких белых лебедях и тупых жирных утках, нисколько не заботясь о том, что какой-нибудь парень увидит ее задумчивое, грустно-улыбчивое лицо в желтой рамке окна, и толстобокий гудящий троллейбус сразу превратится в голубую мечту, быстро исчезающую в сторону Пушкинской площади, и этого парня, что кольнула нечаянно в сердце, Людочка и не заметит – мечта цепко держится за поводья электрических проводов и мчится в жестком графике вечернего маршрута. А на конечной остановке Люду-Людочку-Милу будет ждать молодой человек, для которого надо вырасти лебедем, потому что и он еще твердо уверен, что по-настоящему счастливы только те, кто стал самым знаменитым. Жизнь еще не призвала его проехать по стене, и он не знает, что вряд ли он будет когда-либо счастливее, чем сейчас, когда к нему мчится через весь город Люда-Людочка-Мила, оставляя на одно мгновение несчастным того парня на тротуаре, что увидел ее лицо в желтой рамке мечты, курсирующей от «Детского мира» до Лужников.

Я опоздал на свидание, поэтому ее будет встречать молодой человек, который еще не знает, что самые знаменитые никогда не бывают счастливы. И опоздал я довольно давно, и по-настоящему ждет меня сейчас только один человек на земле – вор Леха Дедушкин по кличке Батон, которому осталось сидеть под стражей еще несколько часов...

Глава 10

Похвальная грамота вора Лехи Дедушкина

В середине дня бачковой принес миску баланды и кашу. Полбуханки и три куска сахара нам выдают утром, и привычный ритм тюремной жизни уже захватил меня. Если сидишь без передач и пока без ларька, главное – правильно распределить харчевку в течение дня. Советами врачей, которые рекомендуют плотнее пожрать утром, обед сшамать облегченный, а на ужин выпить стакан кефира, и тогда, мол, фигура будет в норме и настроение – люкс, – вот этими советами приходится пренебрегать.

В тюремной диете я разбираюсь получше их и знаю наверняка, что люди, жрущие из бачка баланду, заняты какими угодно заботами, но только не беспокойством о своей фигуре. Баланда тебе сама фигуру обрывает. Тут очень важно – если ты без передачи и без ларька – обеспечить себе ужин. Когда после суда отправляют в колонию, там с едой вопроса нет – кормят вполне достаточно, а вот в КПЗ или в УСИ изволь подумать про свою вечернюю жратву, иначе кишки у тебя повоюют. УСИ – это так интеллигентно называется следственная тюрьма: учреждение следственного изолятора, и питание тамошних обитателей строго рассчитано по калориям на расход энергии здорового человека, не занятого физическим трудом.

Может быть, те, кто составлял нам рацион, и правы были в своих раскладках, кабы спустили они их в больницу или какой-то паршивенький пансионат. Там люди тоже не заняты физическим трудом. Но находятся они в холе и покое и не знают, что такое расход нервной энергии, а от него тоже жутко жрать охота. И начинаешь расходовать эту свою нервную энергию прямо с утра при разделе пайки. Полкило черняшки я прикидываю на глазок и разрезаю черенком ложки на три части: две по сто граммов и одна триста. За завтраком я съедаю пшеничную кашу с постным маслом и выпиваю две кружки кипятка с одним куском сахара и маленьким ломтем хлеба. К двум часам я готов съесть порцию жареных куриных потрошков, гурийскую капусту, одно сациви, яичный паштет, сулугуни на вертеле, затем сборную мясную соляночку или борщ по-московски, на второе – колбасу по-извозчицки или карский шашлык, можно цыпленка табака или шницель по-министерски. Де-воляй тоже подошел бы. Теперь десерт – омлет «сюрприз» или кофе глясе, а потом чашечку кофе по-турецки с пенкой и хорошую сигарету. Официант, приговорчик! Дежурный отпирает дверь, и бачковой приносит миску с рыбьим супом.

Это особая, ни на что более не похожая уха, и ее особый, ни с чем более не сравнимый вкусовой букет, видимо, связан с тем, что редкостные породы дорогих зарубежных рыб – мерлуза, бельдюга, сайда и сквама – варятся на бульоне из трески, притом целиком, вместе с головой, хвостом и плавниками, поэтому, выловив кусок в миске, никогда не знаешь, что это – глаз или икра. Тут же немного картошки и перловки. Все, привет! На второе – вареная картошка или, если подвезло, каша из гречневого продела. На десерт – маленький кусок хлеба с кипятком. В ужин снова каша с каким-то коричневым, неаппетитным на вид соусом. Но у меня еще есть здоровый кусман хлеба – не меньше трехсот граммов, и два куска сахара. Устраиваю шикарное чаепитие в Мытищах, то бишь в Бутырках, и заваливаюсь на нары, не менее довольный, чем нахальный мордастый поп с вышеупомянутой картины. И начинаю думать.

Тут бы лучше всего уснуть, закрыть рожу плащом от тусклого, унылого негасимого камерного света и спать. Но в камере тихо, пусто, и я знаю, что через час истекнут семьдесят два часа пребывания под стражей в порядке задержания, и, где бы сейчас ни был Тихонов, чем бы ни занимался рыжий мент Савельев, они бешено скребут копытами землю, решая вопрос о мере пресечения для меня. Никаких чудес быть не может – если они разыскали того пижона, то все, сушите сухари, пишите письма, мы ждем их в солнечном Коми.

Эх, беда в том, что во взаимоотношениях между собой люди плохо понимают отведенные им жизнью места и заранее расписанные им роли. Как-то несколько лет назад, незадолго до моего выхода с очередной отсидки в колонии, проводили диспут зеков «Готов ли ты к жизни на свободе?». Приехали всякие начальники, ученые юристы и психологи. Поскольку моего согласия на участие в диспуте никто не спрашивал и предполагалось, что я еще не решил для себя вопрос – готов ли я к жизни на свободе, меня вместе со всей 18-й бригадой тоже доставили в клуб. Всякие глупости там говорили и ученые, и раскаявшиеся заключенные, подробно поделившиеся с нами своими планами новой, прекрасной и правильной жизни. Я от выступлений воздержался, потому что мои планы немного расходились с планами тех молодцов, которые поняли свою готовность к новой жизни на свободе только после нескольких лет усиленного режима исправительно-трудового воспитания. Но один психолог, молодой еще совсем парень, сильно близорукий, в очень толстых очках, говорил об интересных вещах. Излагал он жутко ученым языком, сильно волновался, сбивался и, чтобы было интереснее, употреблял массу иностранных слов, отчего его вообще никто не слушал. А бубнил он о штуковинах умных и очень важных. Ну смысл у него был приблизительно такой: масса конфликтов происходит между людьми оттого, что они не хотят понять и правильно оценить свою роль в обществе. Такого никогда не может произойти, например, в армии. Там никому и ничего придумывать не надо, да и нельзя. Там каждый человек раз и навсегда знает, что ему делать, кто подчиняется ему и кому он подчиняется сам. И если ефрейтор считает себя Львом Толстым, он все равно должен беспрекословно выполнять приказ младшего сержанта, ну и уж, естественно, шкуру спустит с солдата, если тот вздумает ему доказывать, будто у него в черепашке шариков больше.

Вот Тихонов и хотел бы довести до меня свою армейскую философию. Он считает, что у нас уже раз и навсегда расписаны роли в этом мерзком представлении под названием жизнь. Он – славный, замечательный человек, бескорыстный борец за благо потерпевших, умный и проницательный сыщик. Я – подлый, бесстыдный, корыстный паразит, живущий за счет чужого труда, короче говоря, явление безусловно вредное. Поэтому он должен меня ловить, сажать в тюрьму, перевоспитывать, отучать воровать, или, как он говорит, заставлять меня понять, что воровать НЕЛЬЗЯ. И полнейшая армейская красота получилась бы у нас, кабы я тоже согласился взять на себя эту роль.

Но в этом-то и вся загвоздка. Дудки! Не получится у нас, гражданин инспектор, этого красивого представления. Не может или не хочет Тихонов понять, что ему борьба против меня нужна для собственного человеческого утверждения. Что он изо всех сил доказывает, какая я мразь, чтобы самому получше высветиться на этом фоне, что он изо всех сил доказывает мне, насколько он сильнее и умнее меня. Ему и невдомек, что его сила – это огромная сила множества человечков под названием «потерпевшие», иначе именуемых – люди, народ. Они все очень меня не любят, и каждый из них дал ему против меня совсем чуток силенок, а все вместе – это много, ух как много, и бороться мне против его силы просто глупо. Поэтому весь спор у нас – кто умнее, ловчее, быстрее. И когда он в уме тягается со мной, то он тоже не прав – наш ум нельзя сравнивать. Вот как нельзя одной меркой мерить тонны и километры. До самой старости он останется очень умным, просто талантливым мальчишкой. А я уже мальчишкой был старым глупым мудрецом. Потому что учили меня уму-разуму отец и дед. Тихонову негде было научиться их мудрости, а если бы было, то, может быть, сидели бы мы сейчас здесь вместе, дожидаясь, пока Савельев вызовет нас обоих на допрос.

И первая заповедь, которой родственнички меня обучили, была формула их собственной жизни: всяк человек – дерьмо. Конечно, они не формулировали так своих представлений, но у нас в семействе, о ком бы ни говорили, подвизывали сразу человеку обидную кликуху, а сравнения носили исключительно оскорбительный характер: «Эта врачиха просто дрымпа

какая-то, точно как наша сумасшедшая тетя Клава», «У этого безусого вора-управдома жена спуталась с придурочным инженером из седьмой квартиры»...

Все люди вокруг были глупыми, некультурными, уродливыми, жадными, мстительными, подлыми – и все эти их скверные качества не просто подвергались домашнему осуждению в нашей семейке: они-де вот плохие, а мы, наоборот, хорошие. То, что мы все – наша семейка – хорошие, это не ставилось под сомнение и в утверждении не нуждалось. Просто другим были свойственны все эти паршивые свойства, и надо очень умело использовать все их гадостные черты, чтобы самому выжить. И оттуда, с тех незапамятных времен моего детства, от дорогой моей семейки идет мой ум, вызревший совсем на других представлениях, чем у Тихонова. И воспитанный десятилетиями образ мышления предписывает мне то отношение к людям, что я получил от отца и деда.

Если человек глуп – его надо обмануть.

Если он некультурен – над ним надо смеяться.

Если он доверчив – его надо обворовать.

Если он мстителен – надо ему первым такую гадость учинить, чтобы ему не до тебя было.

Если он подл, то будь его подлее вдвое – и он захлебнется подлостью.

Уроков пакостной сообразительности я получил в детстве на всю жизнь. Хитро улыбаясь и почесывая длинную родинку на щеке, дед спрашивал меня:

– Вот нанимаешь ты себе сторожа. Какого выберешь?

– Самого сильного, – мгновенно отвечал я. – И самого храброго!

– Дурак ты, братец, – отвечал дед. – Перво-наперво пригласи закурить всех. И особо взирай на тщедушных с дохлой грудью. Это самолучшие сторожа. Он от курева всю ночь кашляет, не до сна ему. А сила и храбрость ему без надобности – у него вместо этого бердан имеется. Тут ведь все просто. Вот найми кучера в теплом тулупе – обязательно сам замерзнешь. А брать кучера надо в худом армячишке – он сам для сугрева всю дорогу бежать будет, и ты скоро доедешь.

– Дед, никаких кучеров давно нет, – говорил я глубокомысленно.

– Хе-хе, дурашка, люди-то все на местах остаются, ты смотри местечко свое не проморгай. Или в худом армяке – бёгом, или под волчьей полстью – Богом.

Тогда еще я был пионером, и представления о всемирном братстве бедняков вмешивались в мое сознание.

Я спросил:

– А нельзя, чтобы мы оба ехали в санях?

Дед покачал головой:

– Нельзя.

– Почему? Там же ведь обоим места хватит?

– Хватит, это верно. Но как только он угреется рядом с тобой, отдохнет маленечко, на первом ухабе тебя самого из саней – хлопбысь!

– А вдруг не станет он меня выталкивать? Чем ему вместе со мной плохо-то?

– Поживешь – поймешь. Вон по радио говорят, что не от Адама вовсе человек происходит, которого Господь Бог из праха сотворил. А происходит он от обезьяны. Надо же!

– Это точно, – подтвердил я. – Нам училка обо всем этом говорила.

– Вот и не верь ты ей, брешет она, – сказал дед.

– А кому же – попам верить? – спросил я.

Дед посидел молча, потирая пальцами длинную черную родинку на щеке, пощупил на меня с усмешкой подслеповатые глазки, потом сказал:

– Ты и попам не верь. И училке не верь. И комсомольцам своим задрипанным не верь. Ты мне верь – я все знаю.

– А что ты знаешь?

– А знаю я, что если не от Адама, то и не от обезьяны произошел человек. А пращуром ему была противная, вонючая, всежрущая свинья – зверь без разума, без совести и без памяти.

– Не может быть! – удивился я.

– Может, может, – заверил дед. – Выбери самонаилучшего человека и подойди к нему в момент преблагостный, в минуты полной тишины душевной, прислушайся только повнимательней, и услышишь в глубине духа его хрюканье алчности и зла...

В этом-то, конечно, дед был прав, хотя в последние годы стал я сомневаться: а не обманул ли он меня в чем-то самом главном, как обманул меня отец с грамотой?

В тот год, когда мне надо было идти в школу, моя семейка забыла об этом. Ну да, дел было полно всяких, и забыли они меня записать в школу, сразу обеспечив мне на следующий год совершенно определенное положение переростка-дылды. И дожидался я первого сентября с таким же нетерпением, как впоследствии ждал амнистии или конца срока. Повел меня в школу отец. Построили нас всех во дворе школы в Сухаревском переулке, и директор, сказав приветственные слова, начал вручать похвальные грамоты; вручали их после каникул, первого сентября, так сказать, за прошлые успехи и в ожидании новых. Ну, отличники, значит, выходили перед строем, директор вручал им грамоты, поздравлял, горнист и барабанщик врезали торжественный мотивчик, все мы орали что-то приветственное, в общем, все было очень красиво. Начали с отличников старших классов, постепенно перебираясь к малышам.

Когда вручили первую грамоту, отец нагнулся ко мне и сказал: «Жди, Алеха, я список видел – тебе тоже дадут!» Я просто обмер от счастья – восемь лет мне было, и меня еще можно было легко обмануть. И тогда я не мог знать, что даже грамоту надо долго и терпеливо заслуживать, и за-ради грамоты мои одноклассники-отличники целый долгий учебный год правильно жили, и часто им было тяжело, и в эту картонку с золотым тиснением вложено много-много скучных часов учебы, тех часов, что я гонял на катке или катался на подножке трамвая «А». Но я этого всего не знал и принялся ждать грамоты. Пригладил слюнями чубчик, отряхнул еще раз брюки, пытаясь пальцами навести на них несуществующую складку – мать, конечно, не успела их погладить, заметив, что они шевиотовые, а все остальные оборванцы будут в вельветовых. Стопка грамот на столике становилась все меньше, и, когда выдали отличникам из 2-го «Г», директор поздравил всех с наступающим учебным годом, и нас повели по классам, а я стоял один и чувствовал себя несчастным, ну никогда за всю жизнь потом я не чувствовал себя таким несчастным, потому что мне присудили грамоту, должны были под горн и барабан вручить перед строем и почему-то раздумали, не стали вручать, и директор не пожал мне перед строем руку. Несчастный и расстроенный, бросился я к отцу, а он хохотал, ужасно довольный своей шуткой. И школа мне опротивела навсегда...

Долго я лежал на нарах, раздумывая и вспоминая, и незаметно задремал, и почти сразу мне приснился дед, как он сидит у подоконника с железными очками на кончике носа и, елозя пальцем по строкам, читает вполголоса нараспев «Житие пророка Аввакума». И в моем сне голос его звучал хоть и бубниво, но вполне отчетливо, я разбирал слова, которые столько раз слышал наяву:

«...И нападе на нея бес, учала кричать и вопить, собакою лаять, и козою блекотать, и кокушкою коковать.

Аз же сжалихся об ней...

Покиня херувимскую петь, взявше от престола крест, и на крылос взошед, закричал: „Запрещаю ти именем Господним; полно, бес, мучить ея!“

Бес же изыде от нея...»

И грохот бесовского исхода пушечным громом гремел у меня в ушах, я испуганно открыл глаза и увидел вертухая.

– Вставай, на допрос вызывают...

Я пришел в себя, долго смотрел на конвоира, пока окончательно понял: нет, так просто не изыдет бес и мукам этим конца не видно.

Глава 11

Унижение инспектора Станислава Тихонова

У дежурного для меня лежало несколько телеграмм. Я даже не очень волновался, читая их, – настолько я не сомневался в правильности наших расчетов. И еще, может быть, потому, что все это было бы важно позавчера – сегодня это являлось лишь доказательством нашего лестничного мышления, той сообразительности, что подсказывает лучшие ответы и решения, когда дверь за тобой уже захлопнута. Телеграммы были отправлены почти в одно время из Конотопа, Кишинева и Унген. Поездные бригады и кассир в Конотопе безоговорочно опознали Батона. Проводники шестого мягкого вагона «Дунай-экспресса», два таможенника и пограничник КПП Унгены опознали молодого человека с фотоснимков и сообщили его имя – Фаусто Кастелли.

Фаусто Кастелли, Фаусто Кастелли. Ничего родители имечко подобрали. Что же ты, Фаусто, не заявил, что Батон спер у тебя чемоданчик? А, Фаусто? Почему же это ты так поскромничал? Не нравятся мне такие тихие ребята... Такой ты богач, что не хотел себе из-за чемодана голову морочить? Это вряд ли. По своей практике я знаю: чем состоятельнее человек, тем бережливее он относится к своему барахлу. Нет, из-за этого молчать ты не стал бы, по крайней мере, заявил бы проводнику. А ты, Фаусто, друг мой ситный, ни гугу никому. И в декларацию внес только один чемодан, а про тот, что Батон прихватил с собой в Конотопе, – ни слова. И как же этот крест повешенного генерал-майора фон Дитца, белогвардейца и военного преступника, оказался у тебя в чемодане? Ну скажи на милость, зачем тебе орден благоверного князя Александра понадобился?

Билет у Фаусто Кастелли был до Софии. Проводники показывают, что туда он приехал благополучно. В Софию, в Софию... Черт-те что! Ничего не понятно. Не хотел привлекать к себе внимание? Почему? Почему же ты, голубчик Фаусто, не хотел привлекать к себе внимание уголовного розыска? Слушай, Фаусто, а может быть, ты шпион? Но шпион не повезет с собой открыто вещи, которые при первом же досмотре обязательно привлекут внимание. Так кто же ты, Фаусто? Жулик? Или просто болезненно застенчивый человек, боящийся оскорбить нас намеком, что в великой социалистической стране еще не перевелись воры? Не знаю, не знаю, что-то я не верю в твою гипертрофированную тактичность. Ладно, займемся тобой вплотную.

Как говорит в таких случаях Савельев, объявляется день повышенной добычи. Я влез на подоконник и растворил верхнюю фрамугу.

По Петровке гонял синий апрельский ветер, тонко парили лужицы на асфальте, а в саду «Эрмитаж» на газонах еще лежали иссеченные солнцем глыбы грязного черного снега. Рабочие обухами топоров разбивали фанерные колпаки над цветочными вазонами, и этот густой, толстый звук – тох! тох! – перекрывал уличный гам и доносился отчетливо сюда. В воде на мостовой купались толстые растрепанные сизари. Весна. И завтра Батон уже сможет наслаждаться ею в полном объеме на свободе. Я не смог ему доказать, что воровать нельзя, *нельзя*. Не смог. Какой-то сумасшедший калейдоскоп фактов, не имеющих между собой никакой осязаемой связи: Батон в КПЗ, Фаусто в Софии, генерал фон Дитц на том свете. Всех их объединяет крест. Нет, с этим крестом не все ладно. Я не могу пока еще понять его значение, но какая-то роль ему отведена, и, возможно, далеко не второстепенная...

Надо сосредоточиться, понять, что и куда ведет. Так, во-первых, выяснить все о Кастелли. Второе – прочитать дело Дитца. Третье – с Батоном. А что с Батоном? При всей унизости моего положения Батона придется выпустить. Юридических оснований для дальнейшего содержания его под стражей не имеется.

Почему-то в этот день меня никто никуда не дергал, и даже телефоны не звонили, будто мои бесчисленные абоненты почувствовали, что меня не надо сегодня отвлекать. А я сидел за своим маленьким неудобным столом и писал запросы, план расследования, рисовал оперативную схему и раздумывал о том, что не должна вот так закончиться наша нынешняя встреча с Батоном. Это будет неправильно, ну просто вредно для нас обоих. Уже совсем стемнело, когда позвонил Савельев:

– Так что в Библиотеке Ленина я...

– Что? – удивился я. – Ты как попал туда?

– Значит, подробностями я тебя обременять не стану, сообщу сразу результат: пленочка вся или почти вся отснята в Болгарии.

– Ты сохрани эту лаконичность для всех остальных случаев, а сейчас уж, будь друг, обремени меня подробностями...

– Хозяин – барин, пожалуйста. В «Экспортфильме» сделали очень неуверенное предположение, что на афише изображен кадр из болгарского кинофильма «Опасный полет». Но, во-первых, утверждать это категорически они не могли, а во-вторых, болгарский кинофильм мог идти где угодно – хоть в Уругвае.

– Понятно, понятно, дальше...

– Сам же просил подробностей. Тогда я в Союз архитекторов. Естественно, запрос наш там еще никто и не рассматривал. Ну поторопил я их... Не, не, все очень вежливо. Ласково все им объяснил, со слезой в голосе. Ну отыскиали они мне в два счета какого-то дедка в ермолке, вот он сразу и точно заявил, что все красоты на снимках – фрагменты памятников, установленных в Софии и Плевене. Облобызал я деда на радостях и помчался в библиотеку.

– А в библиотеку-то зачем?

– Я деду-эксперту доверяю, но проверяю. Потому как я еще не академик архитектуры, а просто сыщик. Он ведь и ошибется – научный просчет, а мне шею намылят. Вот и взял я тут вечернюю софийскую газету, чтобы ознакомиться с репертуаром местных кинотеатров...

– А что ты по-болгарски понимаешь?

– Все, – спокойно заявил Сашка. – У них язык точно как у нас, только на старославянский сильно смахивает. У нас – «я», у них – «аз», мы говорим – «был», а они – «бьяше». «Слово о полку Игореве».

– Да, ты у меня крупный исследователь, – согласился я. – Так что с кинофильмом?

– Помнишь, на фото просматривались три буквы названия кинотеатра – «СКВ»? Оказывается, в Софии есть кинотеатр, который называется «МО-СКВА»! И с двадцать восьмого марта по третье апреля в нем шел кинофильм «Опасный полет». Возражения имеются?

– Порядок. Можешь возвращаться на базу. Выполнял поручение истово.

Я сел к машинке и отстучал постановление об освобождении Батона из-под стражи, и, когда я дошел до слов «... из-под стражи освободить...», настроение у меня совсем испортилось, потому что обозначали они мой полный провал. Потом спрятал бланк в папку и отправился к шефу. Вошел в его кабинет и, как смог твердо, сказал:

– Полагаю, что Дедушкина ни в коем случае отпускать нельзя!

Как расхваставшийся и неожиданно уличенный мальчишка, я надеялся, что еще может произойти какое-то чудо, которое спасет меня от позора, хотя отлично знал: ничего не может сейчас случиться и Батона надо будет выпустить.

Шарапов поднял взгляд от бумаг и как будто взвесил меня – чего я стою, усмехнулся и снова опустил глаза, дочитывая абзац. При этом он пальцем придерживал строку, будто она могла уползти со страницы. Потом подчеркнул что-то карандашом, поставил на поле жирную галку и отложил документ в сторону. Снял очки и положил их на стол. Очки у Шарапова были наимоднейшей формы – с толстыми, элегантно оправленными в металл оглоблями, крупными, отливающими синевой стеклами. Не знаю уж, где достал себе Шарапов такие современные очки,

но нельзя было и нарочно придумать более неуместной вещи на его круглом мясистом лице с белыми волосами. Он помолчал немного, потом спокойно сказал:

– Судя по твоему тону, все законные основания для содержания Батона под стражей исчерпаны. Да-а...

Это было его фирменное словечко – да-а. Он говорил его не спеша, вставляя, набираясь в нем обычных «а» штук пять, и в зависимости от интонации оно могло означать массу всего – от крайнего неодобрения до восхищения. И незаметно все мы – Сашка, я, Дрыга, Карагезов, все ребята из отдела стали говорить «да-а-а». Не то чтобы мы подделывались под Шарапова – словечко уж больно хорошее было. А сейчас его «да-а» ничего не выражало, ну вроде он констатировал, что я крупно обмизурился, и все. Я кивнул.

– Да, почти исчерпаны. Но существует еще арест в порядке статьи девяностой – до десяти суток без предъявления обвинения.

Шарапов усмехнулся:

– Да, я слышал об этом где-то. Там в аккурат речь шла об исключительных случаях... Предположим, что мы продержим Батона еще неделю. Какие ты можешь гарантировать результаты? Если они будут на нынешнем уровне, извиняться перед Дедушкиным придется втрое. И все.

– Я, между прочим, не пылесосы выпускаю. И не электробритвы. Ну и никаких гарантий давать заранее не могу... Но... но...

– После такого «но» должно последовать серьезное откровение...

– Этого не обещаю. Но я предлагаю двинуться не вдоль проблемы, а вглубь.

Шарапов поднял белесую бровь. Я разложил на столе оперативную схему и развернутый план расследования.

– Дальнейшая разработка и допросы Батона представляются мне бесперспективными. Сознаться он не станет. Но мне не дает покоя крест. Станный он очень, этот крест. Поэтому я хочу затребовать из архива Верховного суда дело атамана Семенова. Это раз. А затем самое главное: надо связаться с болгарским уголовным розыском – запросить их об этом Фаусто Кастелли. Вчера он приехал в Софию. Если он вполне респектабельный человек, надо попросить болгарских коллег порасспросить его о чемодане.

Шарапов зачем-то надел очки и посмотрел на меня исподлобья сквозь дымчатые стекла. В это время постучал в дверь Савельев:

– Разрешите присутствовать, товарищ подполковник?

– Присутствуй.

– Давайте еще раз с Батоном поговорим, – предложил я.

– Бесполезно, – с ходу включился в разговор Сашка. – Это же не человек – это кладбище улик.

Но Шарапов уже снял телефонную трубку и коротко приказал:

– Дедушкина ко мне, – положил трубку на рычаг и сказал нам: – Поговорим и, по-видимому, отпустим...

Сашка, который не слышал начала нашего разговора, взвился с дивана, как петарда:

– То есть как это отпустим? В каком смысле?

– В прямом, – спокойно сказал Шарапов. – Тем более что Батон не иголка, фигура все-союзно известная и в случае чего никуда от нас не денется. – Он быстро взглянул на меня и снова повернулся к Савельеву. – Я думаю, что у Тихонова уже лежит в папочке постановление о его освобождении. А, Стас?

– Допустим, что лежит, – сказал я зло.

Сашка посмотрел на меня так, будто я предал его в тяжелую минуту:

– Как же это можно? Он ведь вор... Он же отъявленный ворюга...

– Да, он вор. Но мы не доказали этого, – сказал Шарапов грустно. И я подумал, что, когда он нас хвалит, он говорит: вы это хорошо сделали, а когда мы в провале, он говорит: мы этого не смогли сделать.

Сашка обернулся ко мне, будто ища моей поддержки:

– Ну ты-то что молчишь? Для чего же я его поймал? Ведь его нельзя выпускать! Он ведь завтра снова чего-нибудь украдет...

Шарапов положил очки на стол и сказал задумчиво:

– Да, сынок, ты прав. Он представляет собой постоянную общественную опасность. Но содержать в тюрьме человека без достаточных доказательств – еще большая опасность для общества. Ты кое-чего, к счастью, не помнишь...

– Но ведь Батон преступник, и смысл, содержание закона – на нашей стороне, – почти выкрикнул Сашка. Он был бледен той прозрачной синеватой белизной, что заливает лица рыжих людей в момент сильного волнения.

Шарапов твердо сказал:

– Закон – это тебе не абстрактная картина, и смысл его выражен в форме. Саша, запомни, пожалуйста, что, когда причастные к закону люди начинают толковать его смысл, а соблюдением формы себя не утруждают, закон очень быстро превращается в беззаконие. Незадолго до моей болезни у нас с Тихоновым был разговор на эту тему. Ты как тогда сказал, Стас? А?

Да, я сказал это тогда, а сейчас я проиграл, и надо признать поражение.

– У нас не бывает побед по очкам...

– А дальше?

– За нами признают только чистые победы.

– Вот именно. И пожалуйста, правила игры под свои возможности не подгоняйте. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что вы не поняли меня. Судя по вашим стонам, вы оба решили, что раз Каstellи в Софии, а Батона отпустим, то делу будет позволено догнывать на корню. Должен вас разочаровать – я с вас шкуру спущу, если вы его до конца не доведете. И примите как приказ, если нормальных человеческих слов не понимаете...

– Перспектив мало в этом случае, – буркнул Сашка.

– Мало? – сердито посмотрел Шарапов. – Может быть, и мало. Но это твоя вина. Потому что нераскрываемых преступлений не существует. Есть сыщики, которым это не удастся.

Сашка, пожав плечами, изобразил возмущение – мол, давайте уж, валите все сразу.

– И мимические жесты свои мне не показывай, для девушек побереги. Рассказали мне, что ты в подшефной школе беседу провел – «Единоборство с воров». Чушь это все!

– То есть как это? – удивился я.

– А так! Нет никакого поединка, поскольку смысл этих слов – это соревнование один на один. Взять хотя бы, к примеру, твое первое серьезное дело, Савельев. С бандитом Валетиком. Ты как думаешь, взял бы ты его один на один?.. Никогда бы ты его не отработал. И Тихонов бы ничего не сделал. И я то же самое. Он ведь каждого из нас не глупее был. Смог бы ты спуститься по водосточной трубе с одиннадцатого этажа? Не знаю. А Валетик спустился...

– И что? – все еще задиристо спросил Сашка.

– Ничего. Валетик-то против тебя действительно один, у него весь расчет как у волка – только на себя. А мы тут против него впятером думали. Но и это не самое главное. Когда ты выходил за Валетиком, у тебя в одном кармане лежал «макаров», а в другом – красная книжечка. Там написано, что ты – офицер МУРа. И эта маленькая картоночка давала тебе силу ну просто исключительную! Мандат от всех людей. Ты был их представитель и, может быть, об этом не думал, но уверен был, что, кого ты ни попросишь или кому что ни поручишь, все будут доброхотно тебе помогать.

– Что, значит, я ничего и не сделал? – обиженно сказал Сашка.

Я разделял его обиду, потому что дело-то действительно было проведено блестяще.

– Как не сделал? – удивился Шарапов. – Ты прекрасно поработал. Но успех вовсе не от этого твоего «поединка» взялся и не от храбрости и тэдэ и тэпэ... Добросовестность. Понимаешь? Добросовестность в работе. Ты хорошо думал тогда – тяжело, трудно. Как пахал, как лес рубил, с потом, с кровью, больно думал. Оттого и победил.

– Да вы же сами себе противоречите, Владимир Иванович! – сказал Сашка.

– Нет. Если бы не было тебя, это дело отработал бы Тихонов, или Дрыга, или я. Но никто из нас в одиночку его бы не сделал, разве что случай помог бы. Да какая надежда на случай, ты сам знаешь. Ты вел это дело, как вожак упряжку. Но тяжелые сани один вожак с места не стронет...

В дверь постучали, вошел конвойный милиционер:

– Товарищ подполковник, задержанный доставлен.

Батон был очень бледен, спокойно-медлителен, и его огромные черные глаза будто попали случайно на чужое лицо – как в широких прорезях алебастровой маски, они метались тревожно и живо. Батон понимал, что сейчас его или отпустят, или отправят в тюрьму. Он узнал Шарапова и сказал:

– Мое почтение, гражданин начальник. Как говорится в старой пьесе – «друзья встречаются вновь».

– Здравствуй, Дедушкин. Не могу тебе сказать, чтобы я слишком радовался нашей встрече...

– А я, ей-богу, рад. Недоразумение уж, наверное, выяснилось, а с умными людьми пообщаться всегда приятно.

– Точно, – сказал Шарапов. – Тем более что умные люди уже выяснили, у кого ты увел чемоданчик.

– Серьезно? – озабоченно спросил Батон. – Значит, недоразумение все еще длится и теплого душевного разговора не получится.

А глаза у него бились, метались в маске лица. Мне вдруг совсем некстати стало жалко Батона – такой умный, сильный человек посвятил свою жизнь уничтожению себя.

Шарапов негромко сказал:

– Прекрати, Дедушкин, волюнку. Мы с тобой сейчас не играем. Чемодан ты украл тринадцатого апреля около девяти часов утра в «Дунай-экспрессе» у итальянского гражданина Фаусто Кастелли.

– Да-да, помнится, какой-то господинчик, ехавший в моем купе, показался мне итальянцем... Правда, багажом его я не интересовался.

Савельев сказал:

– Ты бы нас хоть перед иностранцами не позорил. Стыдно.

Батон усмехнулся и сказал с нотой нравоучения:

– Гражданин Шарапов, у вас служат аморальные люди. Даже если бы вы доказали, что я у этого итальяшки махнул чемодан, то разве с точки зрения нравственности это хуже, чем обворовать нашего советского честного труженика? Он ведь, наверное, буржуй и живет, скорее всего, как и я, на нетрудовые доходы. Где-то его даже можно причислить к лику агентов империализма. Простые итальянские трудящиеся не катаются по заграницам люкстуrom, а заняты классовыми боями.

Вот сволочь-то, еще издевается над нами.

А Батон продолжал:

– Судя по задумчивости нашей беседы, этот самый Фаусто еще не заявил своих гражданских претензий и имущественных прав. Все, что вы мне говорите, – обычные предположения, которые вы любите называть версиями. Я бы хотел более серьезных доказательств моей вины. Ведь я тоже не по своей охоте законы выучил.

– Ну а вещички в чемодане? – спросил Шарапов. Он говорил спокойно, с каким-то ленивым интересом, будто все происходящее здесь его совсем мало волновало.

– Вещички? – пожал плечами Батон. – Их нельзя считать доказательствами.

– Это почему же? – любопытствовал Шарапов.

– Потому что я могу выбрать для себя две линии защиты. Первая: заявляю вам категорически, что чемодан купил целиком у какого-то неизвестного мне гражданина – все, точка. Вторая: открываем широкую дискуссию по презумпции невиновности – я-то ведь не должен вам доказывать, что я не виноват, это вы должны доказать мою виновность. Поэтому речь может идти только об оценке доказательств, а это всегда штука субъективная. Например, старый пожарник, прослуживший всю жизнь в консерватории, на вопрос, чем отличается виолончель от скрипки, объяснил, что виолончель дольше горит. Понятно?

– Понятно, – кивнул Шарапов. – Ну что ж, ты меня окончательно убедил: парень ты серьезный. Поэтому посадим мы тебя обязательно...

– Нынешний эпизод не годится, – покачал головой Батон. – Товар калина – дерьма в нем половина.

– Ладно, посмотрим, – так же легко, без всякой угрозы сказал Шарапов. – Ты бы, Дедушкин, рассказал мне лучше чего-нибудь еще про итальянца. Нет настроения?

Батон не спеша осмотрел нас всех, задумался на мгновение, потом сказал:

– Сдается мне, что этот Фаусто интересуется вас больше, чем я. А, гражданин начальник?

Шарапов кивнул:

– Допустим. Так что?

Батон думал, мы его не торопили. Потом сказал:

– Что – «что»? Ничего!

– Не будем говорить?

– Конечно не будем. Вы думали: «Советская малина врагу сказала – нет»? Ничего подобного...

– Почему?

– Слушайте, Шарапов, вы же умный человек. Неужели вы не понимаете, что такой враг, как этот Фаусто, мне-то гораздо ближе, чем такой земляк, как вы? Его я, допустим, не знаю и знать не хочу. А вас я знаю так же хорошо, как то, что вы хотите меня посадить в тюрьму. Надо мной не тяготеет моральное бремя патриотизма, поэтому помогать вам ловить кого-то я не стану. И вы в этом тоже виноваты.

– Почему? – по-прежнему невозмутимо задавал вопросы Шарапов.

Батон посмотрел на него прищурясь, будто решал – говорить или не надо. Потом решил:

– Тихонов считает, что мы с ним уже старинные знакомые. Не знаю, говорили ли вы ему, что мы с вами познакомились, когда он в кармане еще не пистолет, а рогатку таскал. И я вас хорошо изучил за эти годы. Вы в общепитии совсем маленький, заурядный человек. Вами даже жена дома наверняка командует. Таких людей идет ровно двенадцать на дюжину – ни пороков, ни достоинств. И так каждый день, круглый год – минус время на сон. Но те десять-двенадцать часов, которые вы проводите в этом кресле – вы же наверняка перерабатываете, – делают вас фигурой, личностью, значительным и сильным человеком. Ответственность за людей, власть над ними, постоянный риск, азарт игры и поиска делают вашу мысль острой, а жизнь интересной. Поэтому вы не просто любите свою работу, а вы живете ею, у вас ничего нет, кроме нее, и как бессмысленно человеку обманывать самого себя, так вы никогда не пойдете на сделку со своей профессиональной честностью. Она ведь превратилась в основу вашего существования. Это оплот вашей веры, и вы лучше получите строгача или служебное несоответствие, чем предложите мне: «Давай, Дедушкин, помоги нам разобраться с итальяшкой, а мы уж дело с чемоданом замнем». Я вас за это не осуждаю, но, честно говоря, сильно не люблю. И думаю, что этот разговор в присутствии ваших мальчиков вы мне никогда не забудете...

Шарапов долго молчал, покручивая в руках очки, потом надел их на нос и еще раз внимательно осмотрел Батона.

– А я полагаю, что мои мальчишки думают так же, как я. И надеюсь, что тоже меня не осуждают. Ну а разговор у нас был хороший. Я ведь в жизни опасаясь только неизвестного. А с тобой просто – ты нам очень даже понятен.

– Грозитесь? – усмехнулся Батон.

– Нет, – сказал Шарапов. – Я когда слушал тебя, мне стало немного страшно. Ты очень опасный человек. Я и сам не больно чувствительный, но тебе прямо удивляюсь – отсутствуют у тебя человеческие чувства. Живи ты тридцать лет назад в Германии, вышел бы из тебя натуральный эсэсовец.

– А что бы делали вы?

– Не знаю. Наверное, старался бы не попасть к тебе.

– Вот видите – от перемены мест слагаемых...

– У нас с тобой, Дедушкин, не сложение. Мы, понимаешь, просто исключаем друг друга... Да-а-а... В общем, разговор закончен.

Да, разговор был закончен совсем. Я достал из папки бланк и сказал:

– Гражданин Дедушкин, мы считаем дальнейшее содержание вас под стражей нецелесообразным...

– Незаконным! – перебил он меня.

– ...нецелесообразным, – продолжал я, – в связи с чем вы освобождены из-под стражи. Распишитесь вот здесь на постановлении...

Дедушкин встал, не спеша подошел к столу, достал из стакана на столе у Шарапова ручку, аккуратно обмакнул ее в чернильницу, внимательно осмотрел кончик пера, взял в руки бланк, прочитал.

– Здесь расписаться?

– Здесь, – сказал я негромко, и ярость, тяжелая, черная, как кипящий вар, переполняла меня, и ужасно хотелось дать ему в морду.

Батон быстро наклонился к листу бумаги, будто клюнул его, поставил короткую корявую закорючку. Но и в этот короткий миг я разглядел, как сильно тряслись у него руки. И промокать пресс-папье его подпись я не стал, потому что он бы увидел, как трясутся руки и у меня. Просто я взял листок бумаги и небрежным таким движением помахал им в воздухе – вроде бы закончил неприятную процедуру, и слава богу. Я положил бланк в папочку и сказал:

– За задержание приношу свои официальные извинения. – И сказал я это как-то весело, со смешком, будто в подкидного дурака проиграл и наплевать мне и на проигрыш, и на Батона, и на извинения все эти пустяковые. И почувствовал, что, если скажу еще одно слово, из глаз могут покатиться дурные, злые слезы досады и отчаяния.

А Батон засмеялся и сказал:

– Да ну, ерунда какая! Бог простит. – И не удержался, добавил: – Я же ведь говорил вам, Тихонов, что извиняться еще придется. А вы посмеивались. Правда, должен признать, что вы уже совсем не тот щенок, которого я знал.

Он сделал паузу, посмотрел на меня с насмешкой и врубил:

– ...Совсем не тот. Другой, другой... Кстати говоря, а как с вещами?

Не знаю почему, но этим ударом он как-то снял с меня напряжение, будто из шока вывел. Плюнул я на все эти игры со спокойствием и «позиционной борьбой» и сказал попросту:

– Рано радуешься! Дело-то продолжается. Я ведь тебе извинения *официальные* принес как должностное лицо. А я сам – Тихонов – перед тобой не извиняюсь, потому что ты вор и к тому же не самый толковый. Поэтому в присутствии своих товарищей клятву даю – я тебе докажу, что воровать *нельзя*. И если я этого не сделаю, то я лучше из МУРа уйду. Но я тебе докажу, что из МУРа мне уходить еще рано.

– Красиво звучит. Прямо клятва Гиппократы. Так что с вещами? С чемоданом моим что?

– Вот с чемодана и начнем. Чемодан не твой – он ворованный и как вещественное доказательство будет приобщен к делу до конца следствия. Уведомление об этом тебе вручу в собственные руки. Гражданин Дедушкин, вы свободны. Можете идти...

Батон дошел до дверей, и шаг у него был какой-то неуверенный, заплетающийся, как у пьяного. Может быть, потому, что в ботинках не было шнурков, не знаю. Но он все-таки обернулся и сказал с кривой ухмылкой:

– Прощайте...

Мы с Шарповым промолчали, а Сашка крикнул вслед:

– До свидания! До скорого!

Глава 12

Час свободы вора Лехи Дедушкина

На свободе было полно воздуха, свежего, прохладного воздуха. Один шаг за дверь – и позади смрад тряпок, кислый запах баланды и капусты, пота, карболки и еще какой-то дряни. Тюремный запах – это дыхание страха. И всякий раз, выходя на волю, я удивлялся: как это люди не замечают того сладкого воздуха, которым пахнет свобода.

Я дошел до Страстного бульвара и остановился, раздумывая, куда мне податься. Кровь молотила в висках, я задыхался от нестерпимого желания заорать на всю улицу: «Вот она, свобода!» И от пережитого напряжения всего меня сотрясала внутренняя дрожь, будто я ужасно замерз, будто забыли меня на много дней в холодильнике, и я совсем ооченел, до самого сердца, и теперь только руки-ноги оттаяли, а внутри лед, и тряслись внутри меня все поджилки от уходящего испуга, но испуг был глубоко – в самом замерзшем сердце, и не мог его вытаять сразу даже этот апрельский вечер теплый, не мог его выдуть свежий воздух, горько-сладкий, настоящий на тополиных почках.

Конечно, в моем положении сейчас бы самый раз броситься в объятия семьи, усесться за праздничный стол, шарахнуть бутылочку коньяка и успокоенным и довольным залечь на боковую. Да вот незадача – семьи нет, и дома нет, и некому праздничный стол накрывать. И где залягу сегодня на боковую – тоже неясно.

На углу Петровки я зашел в маленькое кафе. Народу было довольно много, наверное, такие же бездомные бродяги, как я, иначе чего им жрать здесь сосиски с трупного цвета кофеом, коли у них есть семья и дом. А скорее всего, никакие они не бездомные; есть у них и дом, и семья, а толкуются они здесь не потому, что вышли из тюрьмы, а заскочили перехватить между работой и театром или между учебой и свиданием, или просто у них здесь свидание. Они ведь все живут правильно.

Заказал я себе фужер коньяка и бутылку минеральной воды, а закуску брать не стал. Закуска у меня была с собой – большая часть хлебной пайки и два куска сахара. Отпускавший меня на волю вертухай очень удивился, когда увидел, что я кладу пайку в карман. «Зачем? – спросил он. – Ведь на волю же идешь». – «Не твоего ума дело. Это мой трудовой хлеб, хочу – оставляю, хочу – беру с собой». – «Трудовой! – передразнил милиционер. – В камере заработал? Не стоишь ты хлеба, который ешь». Неохота мне с ним разговаривать было, взял я свой хлеб и пошел.

А теперь положил пайку на тарелку и заедал коньяк маленькими кусочками. Не знает дурак-вертухай, что у коньяка «Двин», когда тюремным хлебушком закусываешь, вкус другой. Вообще мало людей знает, что хлеб тюремный любую горечь отбивает. На заказ такой хлеб не получишь, но коли доведется, то, какие бы неприятности тебя ни волновали, попробуешь его разок, и покажутся тебе все невзгоды на воле милыми, дорогими сердцу пустячками. И не

заботило меня сейчас то, что дома нет и не ждет меня никто за праздничным столом. А просто сидел я в шумной забегаловке совсем один, хлебал и думал. Подумать было о чем.

С каждым глотком внутри что-то оттаивало, прогревалось, коньяк веселыми живыми мурашками бежал по жилам, приятно жгло в желудке, и постепенно стихала эта ужасная, отвратительная дрожь в сердце. Но приятный хмельной дурман не притекал к голове, не глушил память страха, и мозг стучал размеренно и сухо, как кассовый аппарат.

Жевал я не спеша свой хлеб, и с каждым следующим куском росла во мне уверенность – в руки больше не даваться. И съеденный хлебушек мой тюремный был вроде клятвы. Я ведь не Тихонов – мне-то перед товарищами клясться не надо, да и нет их у меня, товарищей. На тюремном хлебе на своем я поклялся – не научит щенок волка, не переучит Тихонов вора в законе Алеху Дедушкина. И в решении моем не было торжества или радости, а было лишь мое упрямство, на расчет поставленное, и горечь безвыходности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.